

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

ПУШКИН

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

ПИКОВАЯ ДАМА ПОВЕСТИ И ПОЭМЫ

русская классика

Пиковая дама (сборник)
Александр Сергеевич Пушкин

Аннотация
Александр Сергеевич Пушкин. Пиковая дама
Повести
  Пиковая дама
    I
    II
    III
    IV
    V
    VI
  Египетские ночи
    Глава I
    Глава II
    Глава III
  Кирджали
  Рославлев
Поэмы
  Руслан и Людмила
    Посвящение
    Песнь первая
    Песнь вторая
    Песнь третия

Песнь четвертая
Песнь пятая
Песнь шестая
Эпилог
Кавказский пленник
Посвящение
Часть I
Часть II
Эпилог
Бахчисарайский фонтан
Цыганы
Полтава
Посвящение
Песнь первая
Песнь вторая
Песнь третия
Медный всадник. Петербургская повесть
Предисловие
Вступление
Часть первая
Часть вторая
Граф Нулин

Аннотация

«Пиковая дама» – одна из самых загадочных повестей А.С. Пушкина. Одноименная опера П.И. Чайковского, регулярные театральные постановки и солидное количество экранизаций красноречиво свидетельствуют о невероятной популярности этого произведения, а знаменитые «тройка, семерка, туз» известны даже тем, кто незнаком с историей Германна.

Не уступают в популярности и литературной значимости и поэмы «Полтава», «Медный всадник», «Руслан и Людмила» – совершенно разные в сюжетном отношении произведения объединяет читательская и зрительская любовь, будь то постановки на сцене, кинокартины на экране или чтение оригинала.

В состав сборника также входят и другие прозаические и поэтические шедевры, без которых невозможно составить представление о столь разнообразном творчестве великого поэта.

Александр Сергеевич Пушкин
Пиковая дама

© ООО «Издательство АСТ», 2017

Повести

Пиковая дама

Пиковая дама означает тайную недоброжелательность.
Новейшая гадательная книга

I

А в ненастные дни
Собирались они
Часто;
Гнули – бог их прости! –
От пятидесяти
На сто,
И выигрывали,
И отписывали
Мелом.
Так, в ненастные дни,
Занимались они
Делом.

Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незамет-

но; сели ужинать в пятом часу утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом; прочие, в рассеянности, сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие.

— Что ты сделал, Сурин? — спросил хозяин.

— Проиграл, по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив: играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а всё проигрываюсь!

— И ты ни разу не соблазнился? ни разу не поставил на *руте*?.. Твердость твоя для меня удивительна.

— А каков Германн! — сказал один из гостей, указывая на молодого инженера, — отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного пароли, а до пяти часов сидит с нами и смотрит на нашу игру!

— Игра занимает меня сильно, — сказал Германн, — но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее.

— Германн немец: он расчетлив, вот и всё! — заметил Томский. — А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна.

— Как? что? — закричали гости.

— Не могу постигнуть, — продолжал Том-

ский, — каким образом бабушка моя не понтирует!

— Да что ж тут удивительного, — сказал Нарумов, — что осьмидесятилетняя старуха не понтирует?

— Так вы ничего про нее не знаете?

— Нет! право, ничего!

— О, так послушайте:

Надобно знать, что бабушка моя, лет шестьдесят тому назад, ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтоб увидеть la Vénus moscovite [1]; Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости.

В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить.

Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся, как огня; однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что

---

[1] Примечания: 1

Московскую Венеру (*фр.*).

в полгода они издержали полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости.

На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений; думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рознь и что есть разница между принцем и каретником. — Куда! дедушка бунтовал. Нет, да и только! Бабушка не знала, что делать.

С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного. Вы знаете, что он выдавал себя за Вечного Жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочая. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих Записках говорит, что он был шпион; впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с

неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть. Написала ему записку и просила немедленно к ней приехать.

Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность.

Сен-Жермен задумался.

«Я могу вам услужить этой суммою, — сказал он, — но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство: вы можете отыграться». — «Но, любезный граф, — отвечала бабушка, — я говорю вам, что у нас денег вовсе нет». — «Деньги тут не нужны, — возразил Сен-Жермен: — извольте меня выслушать». Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал…

Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал.

В тот же самый вечер бабушка явилась в Версале, au jeu de la Reine [2]. Герцог Орлеанский метал;

---

[2] Примечания: 2
На карточную игру у королевы (*фр.*).

бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдание сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другою: все три выиграли ей соника, и бабушка отыгралась совершенно.

— Случай! — сказал один из гостей.

— Сказка! — заметил Германн.

— Может статься, порошковые карты? — подхватил третий.

— Не думаю, — отвечал важно Томский.

— Как! — сказал Нарумов, — у тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, а ты до сих пор не перенял у ней ее кабалистики?

— Да, чёрта с два! — отвечал Томский, — у ней было четверо сыновей, в том числе и мой отец: все четыре отчаянные игроки, и ни одному не открыла она своей тайны; хоть это было бы не худо для них и даже для меня. Но вот что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, и в чем он меня уверял честью. Покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл — помнится Зоричу — около трехсот тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалостям молодых людей, как-то сжали-

лась над Чаплицким. Она дала ему три карты, с тем, чтоб он поставил их одну за другою, и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю: они сели играть. Чаплицкий поставил на первую карту пятьдесят тысяч и выиграл соника; загнул пароли, пароли-пе, — отыгрался и остался еще в выигрыше…

Однако пора спать: уже без четверти шесть.

В самом деле, уже рассветало: молодые люди допили свои рюмки и разъехались.

II

– Il parait que monsieur est décidément pour les suivantes.
– Que voulez-vous, madame? Elles sont plus fraîches [3].

Светский разговор

Старая графиня *** сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая коробку со шпильками, третья высокий чепец с лентами огненного

[3] Примечания: 3

— Вы, кажется, решительно предпочитаете камеристок.
— Что делать? Они свежее (*фр.*).

цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам семидесятых годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и шестьдесят лет тому назад. У окошка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница.

— Здравствуйте, grand'maman [4], — сказал, вошедши, молодой офицер. — Bonjour, mademoiselle Lise [5]. Grand'maman, я к вам с просьбою.

— Что такое, Paul [6]?

— Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привезти его к вам в пятницу на бал.

— Привези мне его прямо на бал, и тут мне его и представишь. Был ты вчерась у ***?

— Как же! очень было весело; танцевали до пяти часов. Как хороша была Елецкая!

— И, мой милый! Что в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна?.. Кстати: я чай, она уж очень постарела, княгиня

---

[4] Примечания: 4
Бабушка (*фр.*).

[5] Примечания: 5
Здравствуйте, Лиза (*фр.*).

[6] Примечания: 6
Павел (*фр.*).

Дарья Петровна?

— Как, постарела? — отвечал рассеянно Томский, — она лет семь как умерла.

Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала весть, для нее новую, с большим равнодушием.

— Умерла! — сказала она, — а я и не знала! Мы вместе были пожалованы во фрейлины, и когда мы представились, то государыня…

И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот.

— Ну, Paul, — сказала она потом, — теперь помоги мне встать. Лизанька, где моя табакерка?

И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет. Томский остался с барышнею.

— Кого это вы хотите представить? — тихо спросила Лизавета Ивановна.

— Нарумова. Вы его знаете?

— Нет! Он военный или статский?

— Военный.

— Инженер?

— Нет! кавалерист. А почему вы думали, что он инженер?

Барышня засмеялась и не отвечала ни слова.

— Paul! — закричала графиня из-за ширмов, — пришли мне какой-нибудь новый роман, только пожалуйста, не из нынешних.

— Как это, grand'maman?

— То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников!

— Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?

— А разве есть русские романы?.. Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли!

— Простите, grand'maman: я спешу… Простите, Лизавета Ивановна! Почему же вы думали, что Нарумов инженер?

И Томский вышел из уборной.

Лизавета Ивановна осталась одна: она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки: она принялась опять за работу и наклонила голову над самой канвою. В это время вошла графиня, совсем одетая.

— Прикажи, Лизанька, — сказала она, — карету закладывать, и поедем прогуляться.

Лизанька встала из-за пяльцев и стала убирать

свою работу.

— Что ты, мать моя! глуха, что ли! — закричала графиня. — Вели скорей закладывать карету.

— Сейчас! — отвечала тихо барышня и побежала в переднюю.

Слуга вошел и подал графине книги от князя Павла Александровича.

— Хорошо! Благодарить, — сказала графиня. — Лизанька, Лизанька! да куда ж ты бежишь?

— Одеваться.

— Успеешь, матушка. Сиди здесь. Раскрой-ка первый том; читай вслух…

Барышня взяла книгу и прочла несколько строк.

— Громче! — сказала графиня. — Что с тобою, мать моя? с голосу спала, что ли?.. Погоди: подвинь мне скамеечку, ближе… ну!

Лизавета Ивановна прочла еще две страницы. Графиня зевнула.

— Брось эту книгу, — сказала она, — что за вздор! Отошли это князю Павлу и вели благодарить… Да что ж карета?

— Карета готова, — сказала Лизавета Ивановна, взглянув на улицу.

— Что ж ты не одета? — сказала графиня, — всегда надобно тебя ждать! Это, матушка, несносно.

Лиза побежала в свою комнату. Не прошло двух минут, графиня начала звонить изо всей мочи. Три девушки вбежали в одну дверь, а камердинер в другую.

— Что это вас не докличешься? — сказала им графиня. — Сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду.

Лизавета Ивановна вошла в капоте и в шляпке.

— Наконец, мать моя! — сказала графиня. — Что за наряды! Зачем это?.. кого прельщать?.. А какова погода? — кажется, ветер.

— Никак нет-с, ваше сиятельство! очень тихо-с! — отвечал камердинер.

— Вы всегда говорите наобум! Отворите форточку. Так и есть: ветер! и прехолодный! Отложить карету! Лизанька, мы не поедем: нечего было наряжаться.

«И вот моя жизнь!» — подумала Лизавета Ивановна.

В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца, а кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи? Графиня ***, конечно, не имела злой души; но была своенравна, как

женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуждые настоящему. Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы, где сидела в углу, разрумяненная и одетая по старинной моде, как уродливое и необходимое украшение бальной залы; к ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду, и потом уже никто ею не занимался. У себя принимала она весь город, наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо. Многочисленная челядь ее, разжирев и поседев в ее передней и девичьей, делала что хотела, наперерыв обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицею. Она разливала чай и получала выговоры за лишний расход сахара; она вслух читала романы и виновата была во всех ошибках автора; она сопровождала графиню в ее прогулках и отвечала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалованье, которое никогда не доплачивали; а между тем требовали от нее, чтоб она одета была, как и все, то есть как очень немногие. В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали, и никто не замечал; на балах она танцевала только тогда, как недоставало vis-à-vis

[7], и дамы брали ее под руку всякий раз, как им нужно было идти в уборную поправить что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положение и глядела кругом себя, — с нетерпением ожидая избавителя; но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостаивали ее внимания, хотя Лизавета Ивановна была сто раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз, оставя тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце и крашеная кровать и где сальная свеча темно горела в медном шандале!

Однажды, — это случилось два дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились, — однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой; через пять минут взглянула опять, — молодой офицер стоял на том же месте. Не имея привычки

---

[7] Примечания: 7
Пары (в контрдансе) (*фр.*).

кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около двух часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пяльцы и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было, — и она про него забыла…

Дня через два, выходя с графиней садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником: черные глаза его сверкали из-под шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым.

Возвратясь домой, она подбежала к окошку, — офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза: она отошла, мучась любопытством и волнуемая чувством, для нее совершенно новым.

С того времени не проходило дня, чтоб молодой человек, в известный час, не являлся под окнами их дома. Между им и ею учредились неусловленные сношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение, — подымала голову, смотрела на него с каждым днем долее и долее. Молодой человек, казалось, был за то ей

благодарен: она видела острым взором молодости, как быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась…

Когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилось. Но узнав, что Нарумов не инженер, а конногвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому.

Германн был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Германн не касался и процентов, жил одним жалованьем, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему (как сказывал он) *жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее*, — а между тем целые ночи просиживал за карточными столами

и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры.

Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. «Что, если, — думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу, — что, если старая графиня откроет мне свою тайну! — или назначит мне эти три верные карты! Почему ж не попробовать своего счастия?.. Представиться ей, подбиться в ее милость, — пожалуй, сделаться ее любовником, — но на это всё требуется время — а ей восемьдесят семь лет, — она может умереть через неделю, — через два дня!.. Да и самый анекдот?.. Можно ли ему верить?.. Нет! расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость!»

Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга, перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна за другою катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Германн

остановился.

— Чей это дом? — спросил он у углового будочника.

— Графини ***, — отвечал будочник.

Германн затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок; долго не мог заснуть, и, когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини ***. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Германн увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь.

III

Vous m'écrivez, mon ange, des lettres de quatre pages plus vite que je ne puis les lire [8].

Переписка

Только Лизавета Ивановна успела снять капот и шляпу, как уже графиня послала за нею и велела опять подавать карету. Они пошли садиться. В то самое время, как два лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Лизавета Ивановна у самого колеса увидела своего инженера; он схватил ее руку; она не могла опомниться от испугу, молодой человек исчез: письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку и во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня имела обыкновение поминутно делать в карете вопросы: кто это с нами встретился? — как зовут этот мост? — что там написано на вывеске? Лизавета Ивановна на сей раз отвечала наобум и невпопад и рассердила графиню.

— Что с тобою сделалось, мать моя! Столбняк ли

---

[8] Примечания: 8

Вы пишете мне, мой ангел, письма по четыре страницы быстрее, чем я успеваю их прочитать (*фр.*).

на тебя нашел, что ли? Ты меня или не слышишь, или не понимаешь?.. Слава богу, я не картавлю и из ума еще не выжила!

Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из-за перчатки письмо: оно было не запечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви: оно было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна.

Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные, тесные сношения с молодым мужчиною. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении и не знала, что делать: перестать ли сидеть у окошка и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям? — отослать ли ему письмо? — отвечать ли холодно и решительно? Ей не с кем было посоветоваться, у ней не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна решилась отвечать.

Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу — и задумалась. Несколько раз начинала она свое письмо, — и рвала его: то выражения

казались ей слишком снисходительными, то слишком жестокими. Наконец ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. «Я уверена, — писала она, — что вы имеете честные намерения и что вы не хотели оскорбить меня необдуманным поступком; но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение».

На другой день, увидя идущего Германна, Лизавета Ивановна встала из-за пяльцев, вышла в залу, отворила форточку и бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Германн подбежал, поднял его и вошел в кондитерскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое письмо и ответ Лизаветы Ивановны. Он того и ожидал и возвратился домой, очень занятый своей интригою.

Три дня после того Лизавете Ивановне молоденькая, быстроглазая мамзель принесла записочку из модной лавки. Лизавета Ивановна открыла ее с беспокойством, предвидя денежные требования, и вдруг узнала руку Германна.

— Вы, душенька, ошиблись, — сказала она, — эта записка не ко мне.

— Нет, точно к вам! — отвечала смелая девушка, не скрывая лукавой улыбки. — Извольте прочитать!

Лизавета Ивановна пробежала записку. Германн требовал свидания.

— Не может быть! — сказала Лизавета Ивановна, испугавшись и поспешности требований и способу, им употребленному. — Это писано верно не ко мне! — И разорвала письмо в мелкие кусочки.

— Коли письмо не к вам, зачем же вы его разорвали? — сказала мамзель, — я бы возвратила его тому, кто его послал.

— Пожалуйста, душенька! — сказала Лизавета Ивановна, вспыхнув от ее замечания, — вперед ко мне записок не носите. А тому, кто вас послал, скажите, что ему должно быть стыдно…

Но Германн не унялся. Лизавета Ивановна каждый день получала от него письма, то тем, то другим образом. Они уже не были переведены с немецкого. Германн их писал, вдохновенный страстию, и говорил языком, ему свойственным: в них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать: она упивалась ими; стала на них отвечать, — и

ее записки час от часу становились длиннее и нежнее. Наконец, она бросила ему в окошко следующее письмо:

«Сегодня бал у ***ского посланника. Графиня там будет. Мы останемся часов до двух. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся, в сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою каморку. Приходите в половине двенадцатого. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут нет, — и делать нечего. Вы должны будете воротиться. Но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя, все в одной комнате. Из передней ступайте налево, идите всё прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите две маленькие двери: справа в кабинет, куда графиня никогда не входит; слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница: она ведет в мою комнату».

Германн трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В десять часов вечера он уж стоял перед домом графини. Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пусты. Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высмат-

ривая запоздалого седока. — Германн стоял в одном сертуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец графинину карету подали. Германн видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную в соболью шубу, и как вослед за нею, в холодном плаще, с головой, убранною свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Швейцар запер двери. Окна померкли. Германн стал ходить около опустевшего дома: он подошел к фонарю, взглянул на часы, — было двадцать минут двенадцатого. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в половине двенадцатого Германн ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Германн взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою, в старинных, запачканных креслах. Легким и твердым шагом Германн прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Германн вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, с сошедшей

позолотою, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже m-me Lebrun [9]. Один из них изображал мужчину лет сорока, румяного и полного, в светло-зеленом мундире и со звездою; другой — молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудреных волосах. По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Leroy [10], коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с Монгольфьеровым шаром и Месмеровым магнетизмом. Германн пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать; справа находилась дверь, ведущая в кабинет; слева, другая — в коридор. Германн ее отворил, увидел узкую, витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы… Но он воротился и вошел в темный кабинет.

Время шло медленно. Всё было тихо. В гостиной пробило двенадцать; по всем комнатам часы одни за другими прозвонили двенадцать, — и всё умолкло опять. Германн стоял, прислонясь

---

[9] Примечания: 9
Госпожей Лебрен (*фр.*).

[10] Примечания: 10
Леруа (*фр.*).

к холодной печке. Он был спокоен; сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра, — и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса и дом осветился. В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в вольтеровы кресла. Германн глядел в щелку: Лизавета Ивановна прошла мимо его. Германн услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло. Он окаменел.

Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами; сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Германн был свидетелем отвратительных таинств ее туалета; наконец, графиня осталась в спальной кофте и ночном чепце: в этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасна и безобразна.

Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницею. Раздевшись, она села у окна в вольтеровы кресла и отослала горничных. Свечи вынесли, комната опять осветилась одною лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли; смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма.

Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились: перед графинею стоял незнакомый мужчина.

— Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь! — сказал он внятным и тихим голосом. — Я не имею намерения вредить вам; я пришел умолять вас об одной милости.

Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Германн вообразил, что она глуха, и, наклонясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему.

— Вы можете, — продолжал Германн, — составить счастие моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить: я знаю, что вы можете угадать три

карты сряду…

Германн остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали; казалось, она искала слов для своего ответа.

— Это была шутка, — сказала она наконец, — клянусь вам! это была шутка!

— Этим нечего шутить, — возразил сердито Германн. — Вспомните Чаплицкого, которому помогли вы отыграться.

Графиня видимо смутилась. Черты ее изобразили сильное движение души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность.

— Можете ли вы, — продолжал Германн, — назначить мне эти три верные карты?

Графиня молчала; Германн продолжал:

— Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Они богаты и без того, они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши три карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия. Я не мот; я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут. Ну!..

Он остановился и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала; Германн стал на колени.

— Если когда-нибудь, — сказал он, — сердце ваше знало чувство любви, если вы помните

ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери, — всем, что ни есть святого в жизни, — не откажите мне в моей просьбе! — откройте мне вашу тайну! — что вам в ней?.. Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного блаженства, с дьявольским договором… Подумайте: вы стары; жить вам уж недолго, — я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастие человека находится в ваших руках; что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить, как святыню…

Старуха не отвечала ни слова.

Германн встал.

— Старая ведьма! — сказал он, стиснув зубы, — так я ж заставлю тебя отвечать…

С этим словом он вынул из кармана пистолет.

При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головою и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела… Потом покатилась навзничь… и осталась недвижима.

— Перестаньте ребячиться, — сказал Германн,

взяв ее руку. — Спрашиваю в последний раз: хотите ли назначить мне ваши три карты? — да или нет?

Графиня не отвечала. Германн увидел, что она умерла.

IV

*7 Mai 18***
Homme sans moeurs et sans religion![11]

Переписка

Лизавета Ивановна сидела в своей комнате, еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие размышления. Приехав домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя предлагавшую ей свою услугу, — сказала, что разденется сама, и с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германна и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства, в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло трех недель с той поры, как она в первый раз увидела

---

[11] Примечания: 11
7 мая 18**. Человек, у которого нет ничего святого! (*фр.*)

в окошко молодого человека, — и уже она была с ним в переписке, — и он успел вытребовать от нее ночное свидание! Она знала имя его потому только, что некоторые из его писем были им подписаны; никогда с ним не говорила, не слыхала его голоса, никогда о нем не слыхала… до самого сего вечера. Странное дело! В самый тот вечер, на бале, Томский, дуясь на молодую княжну Полину ***, которая, против обыкновения, кокетничала не с ним, желал отомстить, оказывая равнодушие: он позвал Лизавету Ивановну и танцевал с нею бесконечную мазурку. Во все время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать, и некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна.

— От кого вы всё это знаете? — спросила она, смеясь.

— От приятеля известной вам особы, — отвечал Томский, — человека очень замечательного!

— Кто ж этот замечательный человек?

— Его зовут Германном.

Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но ее руки и ноги поледенели…

— Этот Германн, — продолжал Томский, — лицо истинно романтическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней мере три злодейства. Как вы побледнели!..

— У меня голова болит… Что же говорил вам Германн, — или как бишь его?..

— Германн очень недоволен своим приятелем: он говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе… Я даже полагаю, что Германн сам имеет на вас виды, по крайней мере он очень неравнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля.

— Да где ж он меня видел?

— В церкви, может быть — на гулянье!.. Бог его знает! может быть, в вашей комнате, во время вашего сна: от него станет…

Подошедшие к ним три дамы с вопросами — oubli ou regret [12]? — прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны.

Дама, выбранная Томским, была сама княжна ***. Она успела с ним изъясниться, обежав лишний круг и лишний раз повертевшись перед

---

[12] Примечания: 12
Забвение или сожаление (*фр.*).

своим стулом. — Томский, возвратясь на свое место, уже не думал ни о Германне, ни о Лизавете Ивановне. Она непременно хотела возобновить прерванный разговор; но мазурка кончилась, и вскоре после старая графиня уехала.

Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня, но они глубоко заронились в душу молодой мечтательницы. Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ею самою, и, благодаря новейшим романам, это уже пошлое лицо пугало и пленяло ее воображение. Она сидела, сложа крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще убранную цветами… Вдруг дверь отворилась, и Германн вошел. Она затрепетала…

— Где же вы были? — спросила она испуганным шепотом.

— В спальне у старой графини, — отвечал Германн, — я сейчас от нее. Графиня умерла.

— Боже мой!.. что вы говорите?..

— И кажется, — продолжал Германн, — я причиною ее смерти.

Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздались в ее душе: *у этого человека по крайней мере три злодейства на душе*! Германн сел на окошко подле нее и всё рассказал.

Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. Итак, эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное преследование, всё это было не любовь! Деньги, — вот чего алкала его душа! Не она могла утолить его желания и осчастливить его! Бедная воспитанница была не что иное, как слепая помощница разбойника, убийцы старой ее благодетельницы!.. Горько заплакала она в позднем, мучительном своем раскаянии. Германн смотрел на нее молча: сердце его также терзалось, но ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало: невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения.

— Вы чудовище! — сказала наконец Лизавета Ивановна.

— Я не хотел ее смерти, — отвечал Германн, — пистолет мой не заряжен.

Они замолчали.

Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу: бледный свет озарил ее комнату. Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германна: он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удиви-

тельно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну.

— Как вам выйти из дому? — сказала наконец Лизавета Ивановна. — Я думала провести вас по потаенной лестнице, но надобно идти мимо спальни, а я боюсь.

— Расскажите мне, как найти эту потаенную лестницу; я выйду.

Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ, вручила его Германну и дала ему подробное наставление. Германн пожал ее холодную безответную руку, поцеловал ее наклоненную голову и вышел.

Он спустился вниз по витой лестнице и вошел опять в спальню графини. Мертвая старуха сидела окаменев; лицо ее выражало глубокое спокойствие. Германн остановился перед нею, долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине; наконец вошел в кабинет, ощупал за обоями дверь и стал сходить по темной лестнице, волнуемый странными чувствованиями. По этой самой лестнице, думал он, может быть, лет шестьдесят назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанный а́

l'oiseau royal[13], прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться…

Под лестницею Германн нашел дверь, которую отпер тем же ключом, и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу.

V

*В эту ночь явилась ко мне покойница баронесса фон В***. Она была вся в белом и сказала мне: «Здравствуйте, господин советник!»*

Шведенборг

Три дня после роковой ночи, в девять часов утра, Германн отправился в *** монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог однако совершенно заглушить голос совести, твердившей ему: ты убийца старухи! Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние

---

[13] Примечания: 13

Королевской птицей («журавлем», т. е. с шапочкой набекрень) (*фр.*).

на его жизнь, — и решился явиться на ее похороны, чтобы испросить у ней прощения.

Церковь была полна. Германн насилу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и в белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние: слуги в черных кафтанах с гербовыми лентами на плече и со свечами в руках; родственники в глубоком трауре, — дети, внуки и правнуки. Никто не плакал; слезы были бы — une affectation [14]. Графиня так была стара, что смерть ее никого не могла поразить и что ее родственники давно смотрели на нее как на отжившую. Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы были тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине. «Ангел смерти обрел ее, — сказал оратор, — бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полунощного». Служба совершилась с печальным приличием. Родственники первые пошли прощаться с телом. Потом

---

[14] Примечания: 14
Притворством (*фр.*).

двинулись и многочисленные гости, приехавшие поклониться той, которая так давно была участницею в их суетных увеселениях. После них и все домашние. Наконец приблизилась старая барская барыня, ровесница покойницы. Две молодые девушки вели ее под руки. Она не в силах была поклониться до земли, — и одна пролила несколько слез, поцеловав холодную руку госпожи своей. После нее Германн решился подойти ко гробу. Он поклонился в землю и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанном ельником. Наконец приподнялся, бледен как сама покойница, взошел на ступени катафалка и наклонился… В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Германн, поспешно подавшись назад, оступился и навзничь грянулся об земь. Его подняли. В то же самое время Лизавету Ивановну вынесли в обмороке на паперть. Этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда. Между посетителями поднялся глухой ропот, а худощавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоящему подле него англичанину, что молодой офицер ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно: «Oh?»

Целый день Германн был чрезвычайно расстро-

ен. Обедая в уединенном трактире, он, против обыкновения своего, пил очень много, в надежде заглушить внутреннее волнение. Но вино еще более горячило его воображение. Возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь, на кровать и крепко заснул.

Он проснулся уже ночью: луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы: было без четверти три. Сон у него прошел; он сел на кровать и думал о похоронах старой графини.

В это время кто-то с улицы заглянул к нему в окошко, — и тотчас отошел. Германн не обратил на то никакого внимания. Через минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Германн думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку: кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась, вошла женщина в белом платье. Германн принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним, — и Германн узнал графиню!

— Я пришла к тебе против своей воли, — сказала она твердым голосом, — но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз

выиграют тебе сряду, — но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил и чтоб во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть, с тем чтоб ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне…

С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Германн слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко.

Германн долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату. Денщик его спал на полу; Германн насилу его добудился. Денщик был пьян по обыкновению: от него нельзя было добиться никакого толку. Дверь в сени была заперта. Германн возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал свое видение.

VI

– Ата́нде!
– Как вы смели мне сказать ата́нде?
– Ваше превосходительство, я сказал ата́нде-с!

Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать

одно и то же место. Тройка, семерка, туз — скоро заслонили в воображении Германна образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз — не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил: «Как она стройна!.. Настоящая тройка червонная». У него спрашивали: «который час», он отвечал: «без пяти минут семерка». Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз — преследовали его во сне, принимая все возможные виды: тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора, семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком. Все мысли его слились в одну, — воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых игрецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот.

В Москве составилось общество богатых игроков, под председательством славного Чекалинского, проведшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение пуб-

лики. Он приехал в Петербург. Молодежь к нему нахлынула, забывая балы для карт и предпочитая соблазны фараона обольщениям волокитства. Нарумов привез к нему Германна.

Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. Несколько генералов и тайных советников играли в вист; молодые люди сидели, развалясь на штофных диванах, ели мороженое и курили трубки. В гостиной за длинным столом, около которого теснилось человек двадцать игроков, сидел хозяин и метал банк. Он был человек лет шестидесяти, самой почтенной наружности; голова покрыта была серебряной сединою; полное и свежее лицо изображало добродушие; глаза блистали, оживленные всегдашнею улыбкою. Нарумов представил ему Германна. Чекалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться и продолжал метать.

Талья длилась долго. На столе стояло более тридцати карт. Чекалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянною рукою. Наконец талья кончилась. Чекалинский стасовал

карты и приготовился метать другую.

— Позвольте поставить карту, — сказал Германн, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего. Чекалинский улыбнулся и поклонился, молча, в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь, поздравил Германна с разрешением долговременного поста и пожелал ему счастливого начала.

— Идет! — сказал Германн, надписав мелом куш над своею картою.

— Сколько-с? — спросил, прищуриваясь, банкомет, — извините-с, я не разгляжу.

— Сорок семь тысяч, — отвечал Германн.

При этих словах все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германна. «Он с ума сошел!» — подумал Нарумов.

— Позвольте заметить вам, — сказал Чекалинский с неизменной своею улыбкою, — что игра ваша сильна: никто более двухсот семидесяти пяти семпелем здесь еще не ставил.

— Что ж? — возразил Германн, — бьете вы мою карту или нет?

Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия.

— Я хотел только вам доложить, — сказал он, — что, будучи удостоен доверенности товарищей,

я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны я, конечно, уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту.

Германн вынул из кармана банковый билет и подал его Чекалинскому, который, бегло просмотрев его, положил на Германнову карту.

Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка.

— Выиграла! — сказал Германн, показывая свою карту.

Между игроками поднялся шепот. Чекалинский нахмурился, но улыбка тотчас возвратилась на его лицо.

— Изволите получить? — спросил он Германна.

— Сделайте одолжение.

Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расчелся. Германн принял свои деньги и отошел от стола. Нарумов не мог опомниться. Германн выпил стакан лимонаду и отправился домой.

На другой день вечером он опять явился у Чекалинского. Хозяин метал. Германн подошел к столу; понтеры тотчас дали ему место. Чекалинский ласково ему поклонился.

Германн дождался новой тальи, поставил карту, положив на нее свои сорок семь тысяч и вчерашний выигрыш.

Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево.

Германн открыл семерку.

Все ахнули. Чекалинский видимо смутился. Он отсчитал девяносто четыре тысячи и передал Германну. Германн принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился.

В следующий вечер Германн явился опять у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтоб видеть игру, столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов; все официанты собрались в гостиной. Все обступили Германна. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Германн стоял у стола, готовясь один понтировать противу бледного, но все улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский стасовал. Германн снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом.

Чекалинский стал метать, руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз.

— Туз выиграл! — сказал Германн и открыл свою карту.

— Дама ваша убита, — сказал ласково Чекалинский.

Германн вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться.

В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его…

— Старуха! — закричал он в ужасе.

Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Германн стоял неподвижно. Когда отошел он от стола, поднялся шумный говор. — Славно спонтировал! — говорили игроки. — Чекалинский снова стасовал карты: игра пошла своим чередом.

Заключение

Германн сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м нумере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: «Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..»

Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека; он где-то служит и имеет порядочное состояние: он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ива-

новны воспитывается бедная родственница.

Томский произведен в ротмистры и женился на княжне Полине.

1833

Египетские ночи
Глава I

– Quel est cet homme?
– Ha, c'est un bien grand talent, il fait de sa voix tout ce qu'il veut.
– Il devrait bien, madame, s'en faire une culotte[15].

Чарский был один из коренных жителей Петербурга. Ему не было еще тридцати лет; он не был женат; служба не обременяла его. Покойный дядя его, бывший вице-губернатором в хорошее время, оставил ему порядочное имение. Жизнь его могла быть очень приятна; но он имел несчастие писать и печатать стихи. В журналах звали его поэтом, а в лакейских сочинителем.

Несмотря на великие преимущества, коими пользуются стихотворцы (признаться: кроме права ставить винительный падеж вместо родительного и еще кой-каких, так называемых поэтических вольностей, мы никаких особенных

---

[15] Примечания: 15
— Что это за человек?
— О, это большой талант; из своего голоса он делает всё, что захочет.
— Ему бы следовало, сударыня, сделать из него себе штаны (*фр.*).

преимуществ за русскими стихотворцами не ведаем) — как бы то ни было, несмотря на всевозможные их преимущества, эти люди подвержены большим невыгодам и неприятностям. Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание и прозвище, которым он заклеймен и которое никогда от него не отпадает. Публика смотрит на него как на свою собственность; по ее мнению, он рожден для ее *пользы и удовольствия.* Возвратится ли он из деревни, первый встречный спрашивает его: не привезли ли вы нам чего-нибудь новенького? Задумается ли он о расстроенных своих делах, о болезни милого ему человека: тотчас пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание: верно что-нибудь сочиняете! Влюбится ли он? — красавица его покупает себе альбом в английском магазине и ждет уж элегии. Приедет ли он к человеку, почти с ним незнакомому, поговорить о важном деле, тот уж кличет своего сынка и заставляет читать стихи такого-то; и мальчишка угощает стихотворца его же изуродованными стихами. А это еще цветы ремесла! Каковы же должны быть невзгоды? Чарский признавался, что приветствия, запросы, альбомы и мальчишки так ему надоели, что поминутно принужден он был удерживаться от

какой-нибудь грубости.

Чарский употреблял всевозможные старания, чтобы сгладить с себя несносное прозвище. Он избегал общества своей братьи литераторов, и предпочитал им светских людей, даже самых пустых. Разговор его был самый пошлый и никогда не касался литературы. В своей одежде он всегда наблюдал самую последнюю моду с робостию и суеверием молодого москвича, в первый раз отроду приехавшего в Петербург. В кабинете его, убранном как дамская спальня, ничто не напоминало писателя; книги не валялись по столам и под столами; диван не был обрызган чернилами; не было такого беспорядка, который обличает присутствие музы и отсутствие метлы и щетки. Чарский был в отчаянии, если кто-нибудь из светских его друзей заставал его с пером в руках. Трудно поверить до каких мелочей мог доходить человек, одаренный, впрочем, талантом и душою. Он прикидывался то страстным охотником до лошадей, то отчаянным игроком, то самым тонким гастрономом; хотя никак не мог различить горской породы от арабской, никогда не помнил козырей и втайне предпочитал печеный картофель всевозможным изобретениям французской кухни. Он вел жизнь самую рассеянную; торчал

на всех балах, объедался на всех дипломатических обедах, и на всяком званом вечере был так же неизбежим, как резановское мороженое.

Однако ж он был поэт и страсть его была неодолима: когда находила на него такая *дрянь* (так называл он вдохновение), Чарский запирался в своем кабинете, и писал с утра до поздней ночи. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастие. Остальное время он гулял, чинясь и притворяясь и слыша поминутно славный вопрос: не написали ли вы чего-нибудь новенького?

Однажды утром Чарский чувствовал то благодатное расположение духа, когда мечтания явственно рисуются перед вами, и вы обретаете живые, неожиданные слова для воплощения видений ваших, когда стихи легко ложатся под перо ваше, и звучные рифмы бегут навстречу стройной мысли. Чарский погружен был душою в сладостное забвение… и свет, и мнения света, и его собственные причуды для него не существовали. Он писал стихи.

Вдруг дверь его кабинета скрыпнула и незнакомая голова показалась. Чарский вздрогнул и нахмурился.

— Кто там? — спросил он с досадою, прокли-

ная в душе своих слуг, никогда не сидевших в передней.

Незнакомец вошел.

Он был высокого росту — худощав и казался лет тридцати. Черты смуглого его лица были выразительны: бледный высокий лоб, осененный черными клоками волос, черные сверкающие глаза, орлиный нос и густая борода, окружающая впалые желтосмуглые щеки, обличали в нем иностранца. На нем был черный фрак, побелевший уже по швам; панталоны летние (хотя на дворе стояла уже глубокая осень); под истертым черным галстуком на желтоватой манишке блестел фальшивый алмаз; шершавая шляпа, казалось, видала и вёдро и ненастье. Встретясь с этим человеком в лесу, вы приняли бы его за разбойника; в обществе — за политического заговорщика; в передней — за шарлатана, торгующего элексирами и мышьяком.

— Что вам надобно? — спросил его Чарский на французском языке.

— Signor, — отвечал иностранец с низкими поклонами, — Lei voglia perdonarmi se…[16]

Чарский не предложил ему стула и встал сам,

---

[16] Примечания: 16

— Синьор, простите меня пожалуйста, если… (*итал.*)

разговор продолжался на итальянском языке.

— Я неаполитанский художник, — говорил незнакомый, — обстоятельства принудили меня оставить отечество; я приехал в Россию в надежде на свой талант.

Чарский подумал, что неаполитанец собирается дать несколько концертов на виолончеле, и развозит по домам свои билеты. Он уже хотел вручить ему свои двадцать пять рублей и скорее от него избавиться, но незнакомец прибавил:

— Надеюсь, Signor, что вы сделаете дружеское вспоможение своему собрату, и введете меня в дома, в которые сами имеете доступ.

Невозможно было нанести тщеславию Чарского оскорбления более чувствительного. Он спесиво взглянул на того, кто назывался его собратом.

— Позвольте спросить, кто вы такой, и за кого вы меня принимаете? — спросил он, с трудом удерживая свое негодование.

Неаполитанец заметил его досаду.

— Signor, — отвечал он запинаясь… — ho creduto… ho sentito… la vostra eccelenza mi perdonera…[17]

---

[17] Примечания: 17

— Синьор, я думал… я считал… ваше сиятельство, простите меня… (*итал.*)

— Что вам угодно? — повторил сухо Чарский.

— Я много слыхал о вашем удивительном таланте; я уверен, что здешние господа ставят за честь оказывать всевозможное покровительство такому превосходному поэту, — отвечал итальянец, — и потому осмелился к вам явиться…

— Вы ошибаетесь, Signor, — прервал его Чарский. — Звание поэтов у нас не существует. Наши поэты не пользуются покровительством господ; наши поэты сами господа, и если наши меценаты (черт их побери!) этого не знают, то тем хуже для них. У нас нет оборванных аббатов, которых музыкант брал бы с улицы для сочинения *libretto.* У нас поэты не ходят пешком из дому в дом, выпрашивая себе вспоможения. Впрочем, вероятно вам сказали в шутку будто я великий стихотворец. Правда, я когда-то написал несколько плохих эпиграмм, но слава богу с господами стихотворцами ничего общего не имею и иметь не хочу.

Бедный итальянец смутился. Он поглядел вокруг себя. Картины, мраморные статуи, бронзы, дорогие игрушки, расставленные на готических этажерках, — поразили его. Он понял, что между надменным dandy[18], стоящим перед ним в

---

[18] Примечания: 18
Щеголь (*англ.*).

хохлатой парчевой скуфейке, в золотистом китайском халате, опоясанном турецкой шалью, и им, бедным кочующим артистом, в истертом галстуке и поношенном фраке, ничего не было общего. Он проговорил несколько несвязных извинений, поклонился и хотел выйти. Жалкий вид его тронул Чарского, который, вопреки мелочам своего характера, имел сердце доброе и благородное. Он устыдился раздражительности своего самолюбия.

— Куда ж вы? — сказал он итальянцу. — Постойте… Я должен был отклонить от себя незаслуженное титло и признаться вам, что я не поэт. Теперь поговорим о ваших делах. Я готов вам услужить, в чем только будет возможно. Вы музыкант?

— Нет, eccelenza[19]! — отвечал итальянец, — я бедный импровизатор.

— Импровизатор! — вскрикнул Чарский, почувствовав всю жестокость своего обхождения. — Зачем же вы прежде не сказали, что вы импровизатор? — и Чарский сжал ему руку с чувством искреннего раскаяния.

Дружеский вид его ободрил итальянца. Он простодушно разговорился о своих предположениях.

---

[19] Примечания: 19
Ваше сиятельство (*итал.*).

Наружность его не была обманчива; ему деньги были нужны; он надеялся в России кое-как поправить свои домашние обстоятельства. Чарский выслушал его со вниманием.

— Я надеюсь, — сказал он бедному художнику, — что вы будете иметь успех: здешнее общество никогда еще не слыхало импровизатора. Любопытство будет возбуждено; правда итальянский язык у нас не в употреблении, вас не поймут; но это не беда; главное — чтоб вы были в моде.

— Но если у вас никто не понимает итальянского языка, — сказал, призадумавшись, импровизатор, — кто ж поедет меня слушать?

— Поедут — не опасайтесь: иные из любопытства, другие, чтоб провести вечер как-нибудь, третьи, чтоб показать, что понимают итальянский язык; повторяю, надобно только, чтоб вы были в моде; а вы уж будете в моде, вот вам моя рука.

Чарский ласково расстался с импровизатором, взяв себе его адрес, и в тот же вечер он поехал за него хлопотать.

Глава II

Я царь, я раб, я червь, я бог.

Державин.

На другой день Чарский в темном и нечистом коридоре трактира отыскивал 35-й номер. Он остановился у двери и постучался. Вчерашний итальянец отворил ее.

— Победа! — сказал ему Чарский, — ваше дело в шляпе. Княгиня ** дает вам свою залу; вчера на рауте я успел завербовать половину Петербурга; печатайте билеты и объявления. Ручаюсь вам, если не за триумф, то по крайней мере за барыш…

— А это главное! — вскричал итальянец, изъявляя свою радость живыми движениями, свойственными южной его породе. — Я знал, что вы мне поможете. Corpo di Bacco![20] Вы поэт, так же, как и я; а что ни говори, поэты славные ребята! Как изъявлю вам мою благодарность? постойте… хотите ли выслушать импровизацию?

— Импровизацию!.. разве вы можете обойтиться и без публики, и без музыки, и без грома рукоплесканий?

---

[20] Примечания: 20
Черт возьми (*итал.*).

— Пустое, пустое! Где найти мне лучшую публику? Вы поэт, вы поймете меня лучше их, и ваше тихое ободрение дороже мне целой бури рукоплесканий… Садитесь где-нибудь и задайте мне тему.

Чарский сел на чемодане (из двух стульев, находившихся в тесной конурке, один был сломан, другой завален бумагами и бельем). Импровизатор взял со стола гитару — и стал перед Чарским, перебирая струны костливыми пальцами и ожидая его заказа.

— Вот вам тема, — сказал ему Чарский: — *поэт сам избирает предметы для своих песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением.*

Глаза итальянца засверкали, он взял несколько аккордов, гордо поднял голову, и пылкие строфы, выражение мгновенного чувства, стройно излетели из уст его… Вот они, вольно переданные одним из наших приятелей со слов, сохранившихся в памяти Чарского.

Поэт идет – открыты вежды,
Но он не видит никого;
А между тем за край одежды
Прохожий дергает его…
«Скажи: зачем без цели бродишь?

Едва достиг ты высоты,
И вот уж долу взор низводишь
И низойти стремишься ты.
На стройный мир ты смотришь смутно;
Бесплодный жар тебя томит;
Предмет ничтожный поминутно
Тебя тревожит и манит.
Стремиться к небу должен гений,
Обязан истинный поэт
Для вдохновенных песнопений
Избрать возвышенный предмет».
– Зачем крутится ветр в овраге,
Подъемлет лист и пыль несет,
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждет?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На чахлый пень? Спроси его.
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?

Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Таков поэт: как Аквилон
Что хочет, то и носит он —
Орлу подобно, он летает
И, не спросясь ни у кого,
Как Дездемона избирает
Кумир для сердца своего.

Итальянец умолк… Чарский молчал, изумленный и растроганный.

— Ну что? — спросил импровизатор.

Чарский схватил его руку и сжал ее крепко.

— Что? — спросил импровизатор. — Каково?

— Удивительно, — отвечал поэт. — Как! Чужая мысль чуть коснулась вашего слуха, и уже стала вашею собственностию, как будто вы с нею носились, лелеяли, развивали ее беспрестанно. Итак для вас не существует ни труда, ни охлаждения, ни этого беспокойства, которое предшествует вдохновению?.. Удивительно, удивительно!..

Импровизатор отвечал:

— Всякий талант неизъясним. Каким образом ваятель в куске каррарского мрамора видит сокрытого Юпитера, и выводит его на свет, резцом

и молотом раздробляя его оболочку? Почему мысль из головы поэта выходит уже вооруженная четырьмя рифмами размеренная стройными однообразными стопами? — Так никто, кроме самого импровизатора, не может понять эту быстроту впечатлений, эту тесную связь между собственным вдохновением и чуждой внешнею волею — тщетно я сам захотел бы это изъяснить. Однако… надобно подумать о моем первом вечере. Как вы полагаете? Какую цену можно будет назначить за билет, чтобы публике не слишком было тяжело, и чтобы я между тем не остался в накладе? Говорят, la signora Catalani[21] брала по 25 рублей? Цена хорошая…

Неприятно было Чарскому с высоты поэзии вдруг упасть под лавку конторщика; но он очень хорошо понимал житейскую необходимость, и пустился с итальянцем в меркантильные расчеты. Итальянец при сем случае обнаружил такую дикую жадность, такую простодушную любовь к прибыли, что он опротивел Чарскому, который поспешил его оставить, чтобы не совсем утратить чувство восхищения, произведенное в нем блестящим импровизатором. Озабоченный

---

[21] Примечания: 21
Госпожа Каталани (*итал.*).

итальянец не заметил этой перемены и проводил его по коридору и по лестнице с глубокими поклонами и уверениями в вечной благодарности.

Глава III

Цена за билет 10 рублей; начало в 7 часов.

Афишка

Зала княгини ** отдана была в распоряжение импровизатору. Подмостки были сооружены; стулья расставлены в двенадцать рядов; в назначенный день, с семи часов вечера, зала была освещена, у дверей перед столиком для продажи и приема билетов сидела старая долгоносая женщина в серой шляпе с надломленными перьями, и с перстнями на всех пальцах. У подъезда стояли жандармы. Публика начала собираться. Чарский приехал из первых. Он принимал большое участие в успехе представления, и хотел видеть импровизатора, чтоб узнать, всем ли он доволен. Он нашел итальянца в боковой комнатке, с нетерпением посматривающего на часы. Итальянец одет был театрально; он был в черном с ног до головы; кружевной воротник его рубашки был откинут, голая шея своею странной белизною

ярко отделялась от густой и черной бороды, волоса опущенными клоками осеняли ему лоб и брови. Всё это очень не понравилось Чарскому, которому неприятно было видеть поэта в одежде заезжего фигляра. Он после короткого разговора возвратился в залу, которая более и более наполнялась.

Вскоре все ряды кресел были заняты блестящими дамами; мужчины стесненной рамою стали у подмостков, вдоль стен и за последними стульями. Музыканты с своими пульпитрами[22] занимали обе стороны подмостков. Посредине стояла на столе фарфоровая ваза. Публика была многочисленна. Все с нетерпением ожидали начала; наконец в половине осьмого музыканты засуетились, приготовили смычки и заиграли увертюру из «Танкреда». Всё уселось и примолкло, последние звуки увертюры прогремели… И импровизатор, встреченный оглушительным плеском, поднявшимся со всех сторон, с низкими поклонами приближился к самому краю подмостков.

Чарский с беспокойством ожидал, какое впечатление произведет первая минута, но он

---

[22] Примечания: 22
Пюпитрами.

заметил, что наряд, который показался ему так неприличен, не произвел того же действия на публику. Сам Чарский не нашел ничего в нем смешного, когда увидел его на подмостках, с бледным лицом, ярко освещенным множеством ламп и свечей. Плеск утих; говор умолк… Итальянец, изъясняясь на плохом французском языке, просил господ посетителей назначить несколько тем, написав их на особых бумажках. При этом неожиданном приглашении, все молча поглядели друг на друга, и никто ничего не отвечал. Итальянец, подождав немного, повторил свою просьбу робким и смиренным голосом. Чарский стоял под самыми подмостками; им овладело беспокойство; он предчувствовал, что дело без него не обойдется и что принужден он будет написать свою тему. В самом деле, несколько дамских головок обратились к нему и стали вызывать его сперва вполголоса, потом громче, и громче. Услыша имя его, импровизатор отыскал его глазами у своих ног, и подал ему карандаш и клочок бумаги с дружескою улыбкою. Играть роль в этой комедии казалось Чарскому очень неприятно, но делать было нечего; он взял карандаш и бумагу из рук итальянца, написал несколько слов; итальянец, взяв со стола вазу, сошел с подмостков,

поднес ее Чарскому, который бросил в нее свою тему. Его пример подействовал; два журналиста, в качестве литераторов, почли обязанностию написать каждый по теме; секретарь неаполитанского посольства и молодой человек, недавно возвратившийся из путешествия, бредя о Флоренции, положили в урну свои свернутые бумажки; наконец, одна некрасивая девица, по приказанию своей матери, со слезами на глазах написала несколько строк по-итальянски, и покраснев по уши, отдала их импровизатору, между тем как дамы смотрели на нее молча, с едва заметной усмешкою. Возвратясь на свои подмостки, импровизатор поставил урну на стол и стал вынимать бумажки одну за другой, читая каждую в слух:

Семейство Ченчи.
(La famiglia dei Cenci.)
L'ultimo giorno di Pompeia.
Cleopatra e i suoi amanti.
La primavera veduta da una prigione.
Il trionfo di Tasso.[23]

— Что прикажет почтенная публика? — спро-

[23] Примечания: 23

Последний день Помпеи. — Клеопатра и ее любовники. — Весна, видимая из темницы. — Триумф Тассо (*итал.*).

сил смиренный итальянец, — назначит ли мне сама один из предложенных предметов, или предоставит решить это жребию?..

— Жребий!.. — сказал один голос из толпы.

— Жребий, жребий! — повторила публика.

Импровизатор сошел опять с подмостков, держа в руках урну, и спросил: «Кому угодно будет вынуть тему?» Импровизатор обвел умоляющим взором первые ряды стульев. Ни одна из блестящих дам тут сидевших не тронулась. Импровизатор, не привыкший к северному равнодушию, казалось страдал… вдруг заметил он в стороне поднявшуюся ручку в белой маленькой перчатке; он с живостию оборотился и подошел к молодой величавой красавице, сидевшей на краю второго ряда. Она встала безо всякого смущения и со всевозможною простотою опустила в урну аристократическую ручку, и вынула сверток.

— Извольте развернуть и прочитать, — сказал ей импровизатор. Красавица развернула бумажку и прочла вслух:

— Cleopatra e i suoi amanti.

Эти слова произнесены были тихим голосом, но в зале царствовала такая тишина, что все их услышали. Импровизатор низко поклонился прекрасной даме с видом глубокой благодарности и

возвратился на свои подмостки.

— Господа, — сказал он, обратясь к публике, — жребий назначил мне предметом импровизации Клеопатру и ее любовников. Покорно прошу особу, избравшую эту тему, пояснить мне свою мысль: о каких любовниках здесь идет речь, perché la grande regina aveva molto…[24]

При сих словах многие мужчины громко засмеялись. Импровизатор немного смутился.

— Я желал бы знать, — продолжал он, — на какую историческую черту намекала особа, избравшая эту тему… Я буду весьма благодарен, если угодно ей будет изъясниться.

Никто не торопился отвечать. Несколько дам оборотили взоры на некрасивую девушку, написавшую тему по приказанию своей матери. Бедная девушка заметила это неблагосклонное внимание, и так смутилась, что слезы повисли на ее ресницах… Чарский не мог этого вынести, и обратясь к импровизатору, сказал ему на итальянском языке:

— Тема предложена мною. Я имел в виду показание Аврелия Виктора, который пишет, будто бы Клеопатра назначила смерть ценою своей любви,

---

[24] Примечания: 24
Потому что у великой царицы было много… (*итал.*)

и что нашлись обожатели, которых таковое условие не испугало и не отвратило… Мне кажется, однако, что предмет немного затруднителен… не выберете ли вы другого?..

Но уже импровизатор чувствовал приближение бога… Он дал знак музыкантам играть… Лицо его страшно побледнело, он затрепетал как в лихорадке; глаза его засверкали чудным огнем; он приподнял рукою черные свои волосы, отер платком высокое чело, покрытое каплями пота… и вдруг шагнул вперед, сложил крестом руки на грудь… музыка умолкла… Импровизация началась.

Чертог сиял. Гремели хором
Певцы при звуке флейт и лир.
Царица голосом и взором
Свой пышный оживляла пир;
Сердца неслись к ее престолу,
Но вдруг над чашей золотой
Она задумалась и долу
Поникла дивною главой…

И пышный пир как будто дремлет.
Безмолвны гости. Хор молчит.

Но вновь она чело подъемлет
И с видом ясным говорит:
В моей любви для вас блаженство?
Блаженство можно вам купить…
Внемлите ж мне: могу равенство
Меж нами я восстановить.
Кто к торгу страстному приступит?

Свою любовь я продаю;
Скажите: кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою? –

Рекла – и ужас всех объемлет,
И страстью дрогнули сердца…
Она смущенный ропот внемлет
С холодной дерзостью лица,
И взор презрительный обводит
Кругом поклонников своих…
Вдруг из толпы один выходит,
Вослед за ним и два других.
Смела их поступь; ясны очи;
Навстречу им она встает;
Свершилось: куплены три ночи,

И ложе смерти их зовет.

Благословенные жрецами,
Теперь из урны роковой
Пред неподвижными гостями
Выходят жребии чредой.
И первый – Флавий, воин смелый,
В дружинах римских поседелый;
Снести не мог он от жены
Высокомерного презренья;
Он принял вызов наслажденья,
Как принимал во дни войны
Он вызов ярого сраженья.
За ним Критон, младой мудрец,
Рожденный в рощах Эпикура,
Критон, поклонник и певец
Харит, Киприды и Амура.
Любезный сердцу и очам,
Как вешний цвет едва развитый,
Последний имени векам
Не передал. Его ланиты
Пух первый нежно оттенял;
Восторг в очах его сиял;

Страстей неопытная сила
Кипела в сердце молодом…
И грустный взор остановила
Царица гордая на нем.

– Клянусь… – о матерь наслаждений,
Тебе неслыханно служу,
На ложе страстных искушений
Простой наемницей всхожу.
Внемли же, мощная Киприда,
И вы, подземные цари,
О боги грозного Аида,
Клянусь – до утренней зари
Моих властителей желанья
Я сладострастно утомлю
И всеми тайнами лобзанья
И дивной негой утолю.
Но только утренней порфирой
Аврора вечная блеснет,
Клянусь – под смертною секирой

Глава счастливцев отпадет.[25]

1835

---

[25] Примечания: 25

Возможно, что продолжением этих стихов является отрывок:

И вот уже сокрылся день,
Восходит месяц златорогий.
Александрийские чертоги
Покрыла сладостная тень.
Фонтаны бьют, горят лампады,
Курится легкий фимиам.
И сладострастные прохлады
Земным готовятся богам.
В роскошном сумрачном покое
Средь обольстительных чудес
Под сенью пурпурных завес
Блистает ложе золотое.

Кирджали

Кирджали был родом булгар. Кирджали на турецком языке значит витязь, удалец. Настоящего его имени я не знаю.

Кирджали своими разбоями наводил ужас на всю Молдавию. Чтоб дать об нем некоторое понятие, расскажу один из его подвигов. Однажды ночью он и арнаут Михайлаки напали вдвоем на булгарское селение. Они зажгли его с двух концов, и стали переходить из хижины в хижину. Кирджали резал, а Михайлаки нес добычу. Оба кричали: «Кирджали! Кирджали!» Всё селение разбежалось.

Когда Александр Ипсиланти обнародовал возмущение и начал набирать себе войско, Кирджали привел к нему несколько старых своих товарищей. Настоящая цель этерии была им худо известна, но война представляла случай обогатиться на счет турков, а может быть и молдаван, — и это казалось им очевидно.

Александр Ипсиланти был лично храбр, но не имел свойств нужных для роли, за которую взялся так горячо и так неосторожно. Он не умел сладить с людьми, которыми принужден был

предводительствовать. Они не имели к нему ни уважения, ни доверенности. После несчастного сражения, где погиб цвет греческого юношества, Иордаки Олимбиоти присоветовал ему удалиться, и сам заступил его место. Ипсиланти ускакал к границам Австрии, и оттуда послал свое проклятие людям, которых называл ослушниками, трусами и негодяями. Эти трусы и негодяи, большею частию, погибли в стенах монастыря Секу или на берегах Прута, отчаянно защищаясь противу неприятеля вдесятеро сильнейшего.

Кирджали находился в отряде Георгия Кантакузина, о котором можно повторить то же самое, что сказано о Ипсиланти. Накануне сражения под Скулянами, Кантакузин просил у русского начальства позволение вступить в наш карантин. Отряд остался без предводителя; но Кирджали, Сафьянос, Кантагони и другие не находили никакой нужды в предводителе.

Сражение под Скулянами, кажется, никем не описано во всей его трогательной истине. Вообразите себе 700 человек арнаутов, албанцев, греков, булгар и всякого сброду, не имеющих понятия о военном искусстве и отступающих в виду пятнадцати тысяч турецкой конницы. Этот отряд прижался к берегу Прута, и выставил

перед собою две маленькие пушечки, найденные в Яссах на дворе господаря, и из которых, бывало, палили во время имянинных обедов. Турки рады были бы действовать картечью, но не смели без позволения русского начальства: картечь непременно перелетела бы на наш берег. Начальник карантина (ныне уже покойник), сорок лет служивший в военной службе, отроду не слыхивал свиста пуль, но тут бог привел услышать. Несколько их прожужжали мимо его ушей. Старичок ужасно рассердился, и разбранил за то майора Охотского пехотного полка, находившегося при карантине. Майор, не зная что делать, побежал к реке, за которой гарцовали делибаши, и погрозил им пальцем. Делибаши, увидя это, повернулись и ускакали, а за ними и весь турецкий отряд. Майор, погрозивший пальцем, назывался Хорчевский. Не знаю, что с ним сделалось.

На другой день, однако ж, турки атаковали этеристов. Не смея, употреблять ни картечи, ни ядер, они решились, вопреки своему обыкновению, действовать холодным оружием. Сражение было жестоко. Резались атаганами. Со стороны турков замечены были копья, дотоле у них не бывалые; эти копья были русские: некрасовцы сражались в их рядах. Этеристы, с разрешения нашего госу-

даря, могли перейти Прут, и скрыться в нашем карантине. Они начали переправляться. Кантагони и Сафьянос остались последние на турецком берегу. Кирджали, раненый накануне, лежал уже в карантине. Сафьянос был убит. Кантагони, человек очень толстый, ранен был копьем в брюхо. Он одной рукою поднял саблю, другою схватился за вражеское копье, всадил его в себя глубже, и таким образом мог достать саблею своего убийцу, с которым вместе и повалился.

Всё было кончено. Турки остались победителями. Молдавия была очищена. Около шестисот арнаутов рассыпались по Бессарабии; не ведая, чем себя прокормить, они всё ж были благодарны России за ее покровительство. Они вели жизнь праздную, но не беспутную. Их можно всегда было видеть в кофейнях полутурецкой Бессарабии, с длинными чубуками во рту, прихлебывающих кофейную гущу из маленьких чашечек. Их узорные куртки и красные востроносые туфли начинали уж изнашиваться, но хохлатая скуфейка всё же еще надета была на бекрень, а атаганы и пистолеты всё еще торчали из-за широких поясов. Никто на них не жаловался. Нельзя было и подумать, чтоб эти мирные бедняки были известнейшие клефты Молдавии, товарищи грозного

Кирджали, и чтоб он сам находился между ими.

Паша, начальствовавший в Яссах, о том узнал, и на основании мирных договоров, потребовал от русского начальства выдачи разбойника.

Полиция стала доискиваться. Узнали, что Кирджали в самом деле находится в Кишиневе. Его поймали в доме беглого монаха, вечером, когда он ужинал, сидя в потемках с семью товарищами.

Кирджали засадили под караул. Он не стал скрывать истины, и признался, что он Кирджали. «Но, — прибавил он, — с тех пор, как я перешел за Прут, я не тронул ни волоса чужого добра, не обидел и последнего цыгана. Для турков, для молдаван, для валахов я конечно разбойник, но для русских я гость. Когда Сафьянос, расстреляв всю свою картечь, пришел к нам в карантин, отбирая у раненых для последних зарядов пуговицы, гвозди, цепочки и набалдашники с атаганов, я отдал ему двадцать бешлыков, и остался без денег. Бог видит, что я, Кирджали, жил подаянием! За что же теперь русские выдают меня моим врагам?» После того Кирджали замолчал и спокойно стал ожидать разрешения своей участи.

Он дожидался недолго. Начальство, не обязанное смотреть на разбойников с их романтической стороны, и убежденное в справедливости требо-

вания, повелело отправить Кирджали в Яссы.

Человек с умом и сердцем, в то время неизвестный молодой чиновник, ныне занимающий важное место, живо описывал мне его отъезд.

У ворот острога стояла почтовая каруца… (Может быть, вы не знаете, что такое каруца. Это низенькая, плетеная тележка, в которую еще недавно впрягались обыкновенно шесть или восемь клячонок. Молдаван в усах и в бараньей шапке, сидя верхом на одной из них, поминутно кричал и хлопал бичом, и клячонки его бежали рысью довольно крупной. Если одна из них начинала приставать, то он отпрягал ее с ужасными проклятиями, и бросал на дороге, не заботясь об ее участи. На обратном пути он уверен был найти ее на том же месте, спокойно пасущуюся на зеленой степи. Нередко случалось, что путешественник, выехавший из одной станции на осьми лошадях, приезжал на другую на паре. Так было лет пятнадцать тому назад. Ныне в обрусевшей Бессарабии переняли русскую упряжь и русскую телегу.)

Таковая каруца стояла у ворот острога в 1821 году, в одно из последних чисел сентября месяца. Жидовки, спустя рукава и шлепая туфлями, арнауты в своем оборванном и живописном наряде,

стройные молдаванки с черноглазыми ребятами на руках окружали каруцу. Мужчины хранили молчание, женщины с жаром чего-то ожидали.

Ворота отворились, и несколько полицейских офицеров вышли на улицу; за ними двое солдат вывели скованного Кирджали.

Он казался лет тридцати. Черты смуглого лица его были правильны и суровы. Он был высокого росту, широкоплеч, и вообще в нем изображалась необыкновенная физическая сила. Пестрая чалма наискось покрывала его голову, широкий пояс обхватывал тонкую поясницу; долиман из толстого синего сукна, широкие складки рубахи, падающие выше колен, и красивые туфли составляли остальной его наряд. Вид его был горд и спокоен.

Один из чиновников, краснорожий старичок, в полинялом мундире, на котором болтались три пуговицы, прищемил оловянными очками багровую шишку, заменявшую у него нос, развернул бумагу и, гнуся, начал читать на молдавском языке. Время от времени он надменно взглядывал на скованного Кирджали, к которому, по-видимому, относилась бумага. Кирджали слушал его со вниманием. Чиновник кончил свое чтение, сложил бумагу, грозно прикрикнул на народ,

приказав ему раздаться — и велел подвезти каруцу. Тогда Кирджали обратился к нему, и сказал ему несколько слов на молдавском языке; голос его дрожал, лицо изменилось; он заплакал и повалился в ноги полицейского чиновника, загремев своими цепями. Полицейский чиновник, испугавшись, отскочил; солдаты хотели было приподнять Кирджали, но он встал сам, подобрал свои кандалы, шагнул в каруцу и закричал: «Гайда!» Жандарм сел подле него, молдаван хлопнул бичом, и каруца покатилась.

— Что это говорил вам Кирджали? — спросил молодой чиновник у полицейского.

— Он (видите-с) просил меня, — отвечал, смеясь, полицейский, — чтоб я позаботился о его жене и ребенке, которые живут недалече от Килии в болгарской деревне — он боится, чтоб и они *из-за него* не пострадали. Народ глупый-с.

Рассказ молодого чиновника сильно меня тронул. Мне было жаль бедного Кирджали. Долго не знал я ничего об его участи. Несколько лет уже спустя, встретился я с молодым чиновником. Мы разговорились о прошедшем.

— А что ваш приятель Кирджали? — спросил я, — не знаете ли, что с ним сделалось?

— Как не знать, — отвечал он, и рассказал мне

следующее:

Кирджали, привезенный в Яссы, представлен был паше, который присудил его быть посажену на кол. Казнь отсрочили до какого-то праздника. Покаместь заключили его в тюрьму.

Невольника стерегли семеро турок (люди простые и в душе такие же разбойники, как и Кирджали); они уважали его, и с жадностию, общею всему Востоку, слушали его чудные рассказы.

Между стражами и невольником завелась тесная связь. Однажды Кирджали сказал им: «Братья! час мой близок. Никто своей судьбы не избежит. Скоро я с вами расстанусь. Мне хотелось бы вам оставить что-нибудь на память».

Турки развесили уши.

— Братья, — продолжал Кирджали, — три года тому назад, как я разбойничал с покойным Михайлаки, мы зарыли в степи недалече от Ясс котел с *гальбинами.* Видно ни мне, ни ему не владеть этим кладом. Так и быть: возьмите его себе и разделите полюбовно.

Турки чуть с ума не сошли. Пошли толки, как им будет найти заветное место? Думали, думали и положили, чтобы Кирджали сам их повел.

Настала ночь. Турки сняли оковы с ног неволь-

ника, связали ему руки веревкою, и с ним отправились из города в степь.

Кирджали их повел, держась одного направления, от одного кургана к другому. Они шли долго. Наконец Кирджали остановился близ широкого камня, отмерил двадцать шагов на полдень, топнул и сказал: «Здесь».

Турки распорядились. Четверо вынули свои атаганы и начали копать землю. Трое остались на страже. Кирджали сел на камень, и стал смотреть на их работу.

— Ну что? скоро ли? — спрашивал он, — дорылись ли?

— Нет еще, — отвечали турки, и работали так, что пот лил с них градом.

Кирджали стал оказывать нетерпение.

— Экой народ, — говорил он. — И землю-то копать порядочно не умеют. Да у меня дело было бы кончено в две минуты. Дети! развяжите мне руки, дайте атаган.

Турки призадумались, и стали советоваться.

— Что же? (решили они) развяжем ему руки, дадим атаган. Что за беда? Он один, нас семеро. — И турки развязали ему руки и дали ему атаган.

Наконец Кирджали был свободен и вооружен. Что-то должен он был почувствовать!.. Он стал

проворно копать, сторожа ему помогали… Вдруг он в одного из них вонзил свой атаган и, оставя булат в его груди, выхватил из-за его пояса два пистолета.

Остальные шесть, увидя Кирджали вооруженного двумя пистолетами, разбежались.

Кирджали ныне разбойничает около Ясс. Недавно писал он господарю, требуя от него пяти тысяч *левов,* и грозясь, в случае неисправности в платеже, зажечь Яссы, и добраться до самого господаря. Пять тысяч левов были ему доставлены.

Каков Кирджали?

1834

Рославлев

Читая «Рославлева»[26], с изумлением увидела я, что завязка его основана на истинном происшедствии, слишком для меня известном. Некогда я была другом несчастной женщины, выбранной г. Загоскиным в героини его повести. Он вновь обратил внимание публики на происшедствие забытое, разбудил чувства негодования, усыпленные временем, и возмутил спокойствие могилы. Я буду защитницею тени, — и читатель извинит слабость пера моего, уважив сердечные мои побуждения. Буду принуждена много говорить о самой себе, потому что судьба моя долго была связана с участью бедной моей подруги.

Меня вывезли в свет зимою 1811 года. Не стану описывать первых моих впечатлений. Легко можно себе вообразить, что́ должна была чувствовать шестнадцатилетняя девушка, променяв антресоли и учителей на беспрерывные балы. Я предавалась вихрю веселия со всею живостию моих лет, и еще не размышляла… Жаль: тогдаш-

[26] Примечания: 26

Исторический роман М.Н. Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году».

нее время стоило наблюдения.

Между девицами, выехавшими вместе со мною, отличалась княжна** (г. Загоскин назвал ее Полиною, оставлю ей это имя). Мы скоро подружились вот по какому случаю.

Брат мой, двадцатидвухлетний малый, принадлежал сословию тогдашних франтов; он считался в Иностранной коллегии, и жил в Москве, танцуя и повесничая. Он влюбился в Полину и упросил меня сблизить наши домы. Брат был идолом всего нашего семейства, а из меня делал, что хотел.

Сблизясь с Полиною из угождения к нему, вскоре я искренно к ней привязалась. В ней было много странного и еще более привлекательного. Я еще не понимала ее, а уже любила. Нечувствительно я стала смотреть ее глазами и думать ее мыслями.

Отец Полины был заслужённый человек, т. е. ездил цугом и носил ключ и звезду, впрочем был ветрен и прост. Мать ее была, напротив, женщина степенная и отличалась важностию и здравым смыслом.

Полина являлась везде; она окружена была поклонниками; с нею любезничали — но она скучала, и скука придавала ей вид гордости и холодности. Это чрезвычайно шло к ее греческому

лицу и к черным бровям. Я торжествовала, когда мои сатирические замечания наводили улыбку на это правильное и скучающее лицо.

Полина чрезвычайно много читала, и без всякого разбора. Ключ от библиотеки отца ее был у ней. Библиотека большею частию состояла из сочинений писателей XVIII века. Французская словесность, от Монтескьё до романов Кребильона, была ей знакома. Руссо знала она наизусть. В библиотеке не было ни одной русской книги, кроме сочинений Сумарокова, которых Полина никогда не раскрывала. Она сказывала мне, что с трудом разбирала русскую печать, и вероятно ничего по-русски не читала, не исключая и стишков, поднесенных ей московскими стихотворцами.

Здесь позволю себе маленькое отступление. Вот уже, слава богу, лет тридцать, как бранят нас бедных за то, что мы по-русски не читаем, и не умеем (будто бы) изъясняться на отечественном языке. (NB: Автору «Юрия Милославского» грех повторять пошлые обвинения. Мы все прочли его и, кажется, одной из нас обязан он и переводом своего романа на французский язык.) Дело в том, что мы и рады бы читать по-русски; но словесность наша, кажется, не старее Ломоносова и чрезвычайно еще ограничена. Она, конечно,

представляет нам несколько отличных поэтов, но нельзя же ото всех читателей требовать исключительной охоты к стихам. В прозе имеем мы только «Историю Карамзина»; первые два или три романа появились два или три года назад: между тем как во Франции, Англии и Германии книги одна другой замечательнее следуют одна за другой. Мы не видим даже и переводов; а если и видим, то воля ваша, я всё-таки предпочитаю оригиналы. Журналы наши занимательны для наших литераторов. Мы принуждены всё, известия и понятия, черпать из книг иностранных; таким образом и мыслим мы на языке иностранном (по крайней мере, все те, которые мыслят и следуют за мыслями человеческого рода). В этом признавались мне самые известные наши литераторы. Вечные жалобы наших писателей на пренебрежение, в коем оставляем мы русские книги, похожи на жалобы русских торговок, негодующих на то, что мы шляпки наши покупаем у Сихлера и не довольствуемся произведениями костромских модисток. Обращаюсь к моему предмету.

Воспоминания светской жизни обыкновенно слабы и ничтожны даже в эпоху историческую. Однако ж появление в Москве одной путеше-

ственницы оставило во мне глубокое впечатление. Эта путешественница — m-me de Staël[27]. Она приехала летом, когда большая часть Московских жителей разъехалась по деревням. Русское гостеприимство засуетилось; не знали, как угостить славную иностранку. Разумеется, давали ей обеды. Мужчины и дамы съезжались поглазеть на нее, и были по большей части недовольны ею. Они видели в ней пятидесятилетнюю толстую бабу, одетую не по летам. Тон ее не понравился, речи показались слишком длинны, а рукава слишком коротки. Отец Полины, знавший m-me de Staël еще в Париже, дал ей обед, на который скликал всех наших московских умников. Тут увидела я сочинительницу «Корины». Она сидела на первом месте, облокотясь на стол, свертывая и развертывая прекрасными пальцами трубочку из бумаги. Она казалась не в духе, несколько раз принималась говорить и не могла разговориться. Наши умники ели и пили в свою меру и, казалось, были гораздо более довольны ухою князя, нежели беседою m-me de Staël. Дамы чинились. Те и другие только изредко прерывали молчание, убежденные в ничтожестве своих мыслей

[27] Примечания: 27
Госпожа де Сталь (*фр.*).

и оробевшие при европейской знаменитости. Во всё время обеда Полина сидела как на иголках. Внимание гостей разделено было между осетром и m-me de Staël. Ждали от нее поминутно bon-mot[28]; наконец вырвалось у ней двусмыслие, и даже довольно смелое. Все подхватили его, захохотали, поднялся шепот удивления; князь был вне себя от радости. Я взглянула на Полину. Лицо ее пылало, и слезы показались на ее глазах. Гости встали изо стола, совершенно примиренные с m-me de Staël: она сказала каламбур, который они поскакали развозить по городу.

«Чтó с тобою сделалось, ma chère[29]? — спросила я Полину, — неужели шутка, немножко вольная, могла до такой степени тебя смутить?» — «Ах, милая, — отвечала Полина, — я в отчаянии! Как ничтожно должно было показаться наше большое общество этой необыкновенной женщине! Она привыкла быть окружена людьми, которые ее понимают, для которых блестящее замечание, сильное движение сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны; она привыкла к увлекательному разговору высшей образованности. А

[28] Примечания: 28
Остроты (*фр.*).

[29] Примечания: 29
Моя дорогая (*фр.*).

здесь… Боже мой! Ни одной мысли, ни одного замечательного слова в течение трех часов! Тупые лица, тупая важность — и только! Как ей было скучно! Как она казалась утомленною! Она увидела, чего им было надобно, что́ могли понять эти обезьяны просвещения и кинула им каламбур. А они так и бросились! Я сгорела со стыда и готова была заплакать… Но пускай, — с жаром продолжала Полина, — пускай она вывезет об нашей светской черни мнение, которого они достойны. По крайней мере, она видела наш добрый простой народ, и понимает его. Ты слышала, что сказала она этому старому, несносному шуту, который из угождения к иностранке вздумал было смеяться над русскими бородами: “Народ, который, тому сто лет, отстоял свою бороду, отстоит в наше время и свою голову”. Как она мила! Как я люблю ее! Как ненавижу ее гонителя!»

Не я одна заметила смущение Полины. Другие проницательные глаза остановились на ней в ту же самую минуту: черные глаза самой m-me de Staël. Не знаю, что подумала она, но только она подошла после обеда к моей подруге, и с нею разговорилась. Чрез несколько дней m-me de Staël написала ей следующую записку:

Ma chère enfant, je suis toute malade. Il serait

bien aimable à vous de venir me ranimer. Tâchez de l'obtenir de m-me votre mère et veuillez lui prèsenter les respects de votre amie *de S.*[30]

Эта записка хранится у меня. Никогда Полина не объясняла мне своих сношений с m-me de Staël, несмотря на всё мое любопытство. Она была без памяти от славной женщины, столь же добродушной как и гениальной.

До чего доводит охота к злословию! Недавно рассказывала я всё это в одном очень порядочном обществе. «Может быть, — заметили мне, — m-me de Staël была не что иное, как шпион Наполеонов, а княжна ** доставляла ей нужные сведения». — «Помилуйте, — сказала я, — m-me de Staël, десять лет гонимая Наполеоном, благородная, добрая m-me de Staël, насилу убежавшая под покровительство русского императора, m-me de Staël, друг Шатобриана и Байрона, m-me de Staël будет шпионом у Наполеона!..» — «Очень, очень может статься, — возразила востроносая графиня Б. — Наполеон был такая бестия, а m-me de Staël претонкая штука!»

---

[30] Примечания: 30

Дорогое дитя мое, я совсем больна. С вашей стороны было бы очень любезно, если бы вы зашли ко мне оживить меня. Постарайтесь получить на то позволение вашей матери и будьте добры передать ей почтительный привет от любящей вас де С (*фр.*).

Все говорили о близкой войне и сколько помню, довольно легкомысленно. Подражание французскому тону времен Людовика XV было в моде. Любовь к отечеству казалась педанством. Тогдашние умники превозносили Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили над нашими неудачами. К несчастию, заступники отечества были немного простоваты; они были осмеяны довольно забавно и не имели никакого влияния. Их патриотизм ограничивался жестоким порицанием употребления французского языка в обществах, введения иностранных слов, грозными выходками противу Кузнецкого моста и тому подобным. Молодые люди говорили обо всем русском с презрением или равнодушием и, шутя, предсказывали России участь Рейнской конфедерации. Словом, общество было довольно гадко.

Вдруг известие о нашествии и воззвание государя поразили нас. Москва взволновалась. Появились простонародные листки графа Растопчина; народ ожесточился. Светские балагуры присмирели; дамы вструхнули. Гонители французского языка и Кузнецкого моста взяли в обществах решительный верх и гостиные наполнились патриотами: кто высыпал из табакерки французский

табак и стал нюхать русский; кто сжег десяток французских брошюрок, кто отказался от лафита и принялся за кислые щи. Все закаялись говорить по-французски; все закричали о Пожарском и Минине, и стали проповедовать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни.

Полина не могла скрывать свое презрение, как прежде не скрывала своего негодования. Такая проворная перемена и трусость выводили ее из терпения. На бульваре, на Пресненских прудах, она нарочно говорила по-французски; за столом в присутствии слуг нарочно оспоривала патриотическое хвастовство, нарочно говорила о многочисленности Наполеоновых войск, о его военном гении. Присутствующие бледнели, опасаясь доноса, и спешили укорить ее в приверженности ко врагу отечества. Полина презрительно улыбалась. «Дай бог, — говорила она, — чтобы все русские любили свое отечество, как я его люблю». Она удивляла меня. Я всегда знала Полину скромной и молчаливой и не понимала, откуда взялась у ней такая смелость. «Помилуй, — сказала я однажды, — охота тебе вмешиваться не в наше дело. Пусть мужчины себе дерутся и кричат о политике; женщины на войну

не ходят, и им дела нет до Бонапарта». — Глаза ее засверкали. — «Стыдись, — сказала она, — разве женщины не имеют отечества? разве нет у них отцов, братьев, мужьев? Разве кровь русская для нас чужда? Или ты полагаешь, что мы рождены для того только, что б нас на бале вертели в экосезах, а дома заставляли вышивать по канве собачек? Нет, я знаю, какое влияние женщина может иметь на мнение общественное, или даже на сердце хоть одного человека. Я не признаю уничижения, к которому присуждают нас. Посмотри на m-me de Staël: Наполеон боролся с нею, как с неприятельскою силой… И дядюшка смеет еще насмехаться над ее робостию при приближении французской армии! “Будьте покойны, сударыня: Наполеон воюет против России, не противу вас…” Да! если б дядюшка попался в руки французам, то его бы пустили гулять по Пале-Роялю; но m-me de Staël в таком случае умерла бы в государственной темнице. А Шарлота Кордэ? а наша Марфа Посадница? а княгиня Дашкова? чем я ниже их? Уж верно не смелостию души и решительностию». Я слушала Полину с изумлением. Никогда не подозревала я в ней такого жара, такого честолюбия. Увы! К чему привели ее необыкновенные качества души и мужественная возвышенность ума?

Правду сказал мой любимый писатель: *Il n'est de bonheur que dans les voies communes*[31].

Приезд государя усугубил общее волнение. Восторг патриотизма овладел наконец и высшим обществом. Гостиные превратились в палаты прений. Везде толковали о патриотических пожертвованиях. Повторяли бессмертную речь молодого графа Мамонова, пожертвовавшего всем своим имением. Некоторые маменьки после того заметили, что граф уже не такой завидный жених, но мы все были от него в восхищении. Полина бредила им. «Вы чем пожертвуете?» — спросила она раз у моего брата. «Я не владею еще моим имением, — отвечал мой повеса. — У меня всего-на-все 30 000 долгу: приношу их в жертву на алтарь отечества». Полина рассердилась. «Для некоторых людей, — сказала она, — и честь и отечество, всё безделица. Братья их умирают на поле сражения, а они дурачатся в гостиных. Не знаю, найдется ли женщина, довольно низкая, чтоб позволить таким фиглярам притворяться перед нею в любви». Брат мой вспыхнул. «Вы слишком взыскательны, княжна, — возразил он. — Вы требуете, чтобы все видели в вас m-me

---

[31] Примечания: 31
Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах.

de Staël и говорили бы вам тирады из “Корины”. Знайте, что кто шутит с женщиною, тот может не шутить перед лицом отечества и его неприятелей». С этим словом он отвернулся. Я думала, что они навсегда поссорились, но ошиблась: Полине понравилась дерзость моего брата, она простила ему неуместную шутку, за благородный порыв негодования и, узнав через неделю, что он вступил в Мамоновской полк, сама просила, чтоб я их помирила. Брат был в восторге. Он тут же предложил ей свою руку. Она согласилась, но отсрочила свадьбу до конца войны. На другой день брат мой отправился в армию.

Наполеон шел на Москву; наши отступали; Москва тревожилась. Жители ее выбирались один за другим. Князь и княгиня уговорили матушку вместе ехать в их ***скую деревню.

Мы приехали в **, огромное село в 20 верстах от губернского города. Около нас было множество соседей, большею частию приезжих из Москвы. Всякий день все бывали вместе; наша деревенская жизнь походила на городскую. Письма из армии приходили почти каждый день, старушки искали на карте местечка *бивака* и сердились, не находя его. Полина занималась одною политикою, ничего не читала, кроме га-

зет, растопчинских афишек, и не открывала ни одной книги. Окруженная людьми, коих понятия были ограничены, слыша постоянно суждения нелепые и новости неосновательные, она впала в глубокое уныние; томность овладела ее душою. Она отчаивалась в спасении отечества, казалось ей, что Россия быстро приближается к своему падению, всякая реляция усугубляла ее безнадежность, полицейские объявления графа Ростопчина выводили ее из терпения. Шутливый слог их казался ей верхом неприличия, а меры им принимаемые варварством нестерпимым. Она не постигала мысли тогдашнего времени, столь великой в своем ужасе, мысли, которой смелое исполнение спасло Россию и освободило Европу. Целые часы проводила она, облокотясь на карту России, рассчитывая версты, следуя за быстрыми движениями войск. Странные мысли приходили ей в голову. Однажды она мне объявила о своем намерении уйти из деревни, явиться в французский лагерь, добраться до Наполеона и там убить его из своих рук. Мне не трудно было убедить ее в безумстве такого предприятия — но мысль о Шарлоте Кордэ долго ее не оставляла.

Отец ее, как уже вам известно, был человек довольно легкомысленный; он только и думал,

чтоб жить в деревне как можно более по московскому. Давал обеды, завел théâtre de société[32], где разыгрывал французские proverbes[33], и всячески старался разнообразить наши удовольствия. В город прибыло несколько пленных офицеров. Князь обрадовался новым лицам и выпросил у губернатора позволение поместить их у себя…

Их было четверо — трое довольно незначащие люди, фанатически преданные Наполеону, нестерпимые крикуны, правда, выкупающие свою хвастливость почтенными своими ранами. Но четвертый был человек чрезвычайно примечательный.

Ему было тогда 26 лет. Он принадлежал хорошему дому. Лицо его было приятно. Тон очень хороший. Мы тотчас отличили его. Ласки принимал он с благородной скромностию. Он говорил мало, но речи его были основательны. Полине он понравился тем, что первый мог ясно ей истолковать военные действия и движения войск. Он успокоил ее, удостоверив, что отступление русских войск было не бессмысленный побег, и столько же беспокоило французов, как ожесто-

---

[32] Примечания: 32
Домашний любительский театр (*фр.*).

[33] Примечания: 33
Пословицы (*фр.*).

чало русских. «Но вы, — спросила его Полина, разве вы не убеждены в непобедимости вашего императора?» Сеникур (назову же и его именем, данным ему г-м Загоскиным) — Сеникур, несколько помолчав, отвечал, что в его положении откровенность была бы затруднительна. Полина настоятельно требовала ответа. Сеникур признался, что устремление французских войск в сердце России могло сделаться для них опасно, что поход 1812-го года, кажется, кончен, но не представляет ничего решительного. «Кончен! — возразила Полина, — а Наполеон всё еще идет вперед, а мы всё еще отступаем!» — «Тем хуже для нас», — отвечал Сеникур, и заговорил о другом предмете.

Полина, которой надоели и трусливые предсказания, и глупое хвастовство наших соседей, жадно слушала суждения, основанные на знании дела и беспристрастии. От брата получала я письма, в которых толку не возможно было добиться. Они были наполненные шутками умными и плохими, вопросами о Полине, пошлыми уверениями в любви и проч. Полина, читая их, досадовала и пожимала плечами. «Признайся, — говорила она, — что твой Алексей препустой человек. Даже в нынешних обстоятельствах, с полей сражений

находит он способ писать ничего не значащие письма, какова же будет мне его беседа в течении тихой семейственной жизни?» Она ошиблась. Пустота братниных писем происходила не от его собственного ничтожества, но от предрассудка, впрочем самого оскорбительного для нас: он полагал, что с женщинами должно употреблять язык, приноровленный к слабости их понятий, и что важные предметы до нас не касаются. Таковое мнение везде было бы невежливо, но у нас оно и глупо. Нет сомнения, что русские женщины лучше образованы, более читают, более мыслят, нежели мужчины, занятые бог знает чем.

Разнеслась весть о Бородинском сражении. Все толковали о нем; у всякого было свое самое верное известие, всякий имел список убитым и раненым. Брат нам не писал. Мы чрезвычайно были встревожены. Наконец один из развозителей всякой всячины приехал нас известить о его взятии в плен, а между тем пошепту объявил Полине о его смерти. Полина глубоко огорчилась. Она не была влюблена в моего брата и часто на него досадовала, но в эту минуту она в нем видела мученика, героя, и оплакивала втайне от меня. Несколько раз я застала ее в слезах. Это меня не удивляло, я знала, какое болезненное участие

принимала она в судьбе страждущего нашего отечества. Я не подозревала, что было еще причиною ее горести.

Однажды утром гуляла я в саду; подле меня шел Сеникур; мы разговаривали о Полине. Я заметила, что он глубоко чувствовал ее необыкновенные качества, и что ее красота сделала на него сильное впечатление. Я смеясь дала ему заметить, что положение его самое романическое. В плену у неприятеля раненый рыцарь влюбляется в благородную владетельницу замка, трогает ее сердце, и наконец получает ее руку. «Нет, — сказал мне Сеникур, княжна видит во мне врага России, и никогда не согласится оставить свое отечество». В эту минуту Полина показалась в конце аллеи, мы пошли к ней навстречу. Она приближалась скорыми шагами. Бледность ее меня поразила.

«Москва взята», — сказала она мне, не отвечая на поклон Сеникура; сердце мое сжалось, слезы потекли ручьем. Сеникур молчал, потупя глаза. «Благородные, просвещенные французы, — продолжала она голосом, дрожащим от негодования, — ознаменовали свое торжество достойным образом. Они зажгли Москву. Москва горит уже два дни». — «Что вы говорите, — закричал Сеникур, — не может быть». — «Дождитесь

ночи, — отвечала она сухо, — может быть, увидите зарево». — «Боже мой! Он погиб, — сказал Сеникур, — как, разве вы не видите, что пожар Москвы есть гибель всему французскому войску, что Наполеону негде, нечем будет держаться, что он принужден будет скорее отступить сквозь разоренную опустелую сторону при приближении зимы с войском расстроенным и недовольным! И вы могли думать, что французы сами изрыли себе ад! нет, нет, русские, русские зажгли Москву. Ужасное, варварское великодушие! Теперь всё решено: ваше отечество вышло из опасности; но что будет с нами, что будет с нашим императором…»

Он оставил нас. Полина и я не могли опомниться. «Неужели, — сказала она, — Сеникур прав, и пожар Москвы наших рук дело? Если так… О, мне можно гордиться именем россиянки! Вселенная изумится великой жертве! Теперь и падение наше мне не страшно, честь наша спасена; никогда Европа не осмелится уже бороться с народом, который рубит сам себе руки и жжет свою столицу».

Глаза ее так и блистали, голос так и звенел. Я обняла ее, мы смешали слезы благородного восторга, и жаркие моления за отечество. «Ты не

знаешь? — сказала мне Полина с видом вдохновения, — твой брат… он счастлив, он не в плену, радуйся: он убит за спасение России».

Я вскрикнула и упала без чувств в ее объятия…

1831

Поэмы

Руслан и Людмила
Посвящение

Для вас, души моей царицы,
Красавицы, для вас одних
Времен минувших небылицы,
В часы досугов золотых,
Под шепот старины болтливой,
Рукою верной я писал;
Примите ж вы мой труд игривый!
Ничьих не требуя похвал,
Счастлив уж я надеждой сладкой,
Что дева с трепетом любви
Посмотрит, может быть, украдкой
На песни грешные мои.

У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо – песнь заводит,
Налево – сказку говорит.

Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;
Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несет богатыря;
В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит;
Там ступа с Бабою Ягой
Идет, бредет сама собой;
Там царь Кащей над златом чахнет;

Там русской дух… там Русью пахнет!
И там я был, и мед я пил;
У моря видел дуб зеленый;
Под ним сидел, и кот ученый
Свои мне сказки говорил.
Одну я помню: сказку эту
Поведаю теперь я свету…

Песнь первая

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.

В толпе могучих сыновей,
С друзьями, в гриднице высокой
Владимир-солнце пировал;
Меньшую дочь он выдавал
За князя храброго Руслана
И мед из тяжкого стакана
За их здоровье выпивал.
Не скоро ели предки наши,
Не скоро двигались кругом
Ковши, серебряные чаши

С кипящим пивом и вином.
Они веселье в сердце лили,
Шипела пена по краям,
Их важно чашники носили
И низко кланялись гостям.

Слилися речи в шум невнятный;
Жужжит гостей веселый круг;
Но вдруг раздался глас приятный
И звонких гуслей беглый звук;
Все смолкли, слушают Баяна:
И славит сладостный певец
Людмилу-прелесть и Руслана
И Лелем свитый им венец.

Но, страстью пылкой утомленный,
Не ест, не пьет Руслан влюбленный;
На друга милого глядит,
Вздыхает, сердится, горит
И, щипля ус от нетерпенья,
Считает каждые мгновенья.
В унынье, с пасмурным челом,
За шумным свадебным столом

Сидят три витязя младые;
Безмолвны, за ковшом пустым,
Забыты кубки круговые,
И брашна неприятны им;
Не слышат вещего Баяна;
Потупили смущенный взгляд:
То три соперника Руслана;
В душе несчастные таят
Любви и ненависти яд.
Один – Рогдай, воитель смелый,
Мечом раздвинувший пределы
Богатых киевских полей;
Другой – Фарлаф, крикун надменный,
В пирах никем не побежденный,
Но воин скромный средь мечей;
Последний, полный страстной думы,
Младой хазарский хан Ратмир:
Все трое бледны и угрюмы,
И пир веселый им не в пир.

Вот кончен он; встают рядами,
Смешались шумными толпами,

И все глядят на молодых:
Невеста очи опустила,
Как будто сердцем приуныла,

И светел радостный жених.
Но тень объемлет всю природу,
Уж близко к полночи глухой;
Бояре, задремав от меду,
С поклоном убрались домой.
Жених в восторге, в упоенье:
Ласкает он в воображенье
Стыдливой девы красоту;
Но с тайным, грустным умиленьем
Великий князь благословеньем
Дарует юную чету.

И вот невесту молодую
Ведут на брачную постель;
Огни погасли… и ночную
Лампаду зажигает Лель.
Свершились милые надежды,
Любви готовятся дары;
Падут ревнивые одежды

На цареградские ковры…
Вы слышите ль влюбленный шепот,
И поцелуев сладкий звук,
И прерывающийся ропот
Последней робости?.. Супруг
Восторги чувствует заране;
И вот они настали… Вдруг
Гром грянул, свет блеснул в тумане,
Лампада гаснет, дым бежит,
Кругом все смерклось, все дрожит,
И замерла душа в Руслане…
Все смолкло. В грозной тишине

Раздался дважды голос странный,
И кто-то в дымной глубине
Взвился чернее мглы туманной…
И снова терем пуст и тих;
Встает испуганный жених,
С лица катится пот остылый;
Трепеща, хладною рукой
Он вопрошает мрак немой…
О горе: нет подруги милой!
Хватает воздух он пустой;

Людмилы нет во тьме густой,
Похищена безвестной силой.

Ах, если мученик любви
Страдает страстью безнадежно,
Хоть грустно жить, друзья мои,
Однако жить еще возможно.
Но после долгих, долгих лет
Обнять влюбленную подругу,
Желаний, слез, тоски предмет,
И вдруг минутную супругу
Навек утратить… о друзья,
Конечно, лучше б умер я!

Однако жив Руслан несчастный.
Но что сказал великий князь?
Сраженный вдруг молвой ужасной,
На зятя гневом распалясь,
Его и двор он созывает:
«Где, где Людмила?» – вопрошает
С ужасным, пламенным челом.

Руслан не слышит. «Дети, други!
Я помню прежние заслуги:

О, сжальтесь вы над стариком!
Скажите, кто из вас согласен
Скакать за дочерью моей?
Чей подвиг будет не напрасен,
Тому – терзайся, плачь, злодей!
Не мог сберечь жены своей! –
Тому я дам ее в супруги
С полцарством прадедов моих.
Кто ж вызовется, дети, други?..»
«Я!» – молвил горестный жених.
«Я! я! – воскликнули с Рогдаем
Фарлаф и радостный Ратмир. —
Сейчас коней своих седлаем;
Мы рады весь изъездить мир.
Отец наш, не продлим разлуки;
Не бойся: едем за княжной».
И с благодарностью немой
В слезах к ним простирает руки
Старик, измученный тоской.

Все четверо выходят вместе;
Руслан уныньем как убит;
Мысль о потерянной невесте

Его терзает и мертвит.
Садятся на коней ретивых;
Вдоль берегов Днепра счастливых
Летят в клубящейся пыли;
Уже скрываются вдали;
Уж всадников не видно боле…

Но долго все еще глядит
Великий князь в пустое поле
И думой им вослед летит.

Руслан томился молчаливо,
И смысл и память потеряв.
Через плечо глядя спесиво
И важно подбочась, Фарлаф,
Надувшись, ехал за Русланом.
Он говорит: «Насилу я
На волю вырвался, друзья!
Ну, скоро ль встречусь с великаном?
Уж то-то крови будет течь,
Уж то-то жертв любви ревнивой!
Повеселись, мой верный меч,
Повеселись, мой конь ретивый!»

Хазарский хан, в уме своем
Уже Людмилу обнимая,
Едва не пляшет над седлом;
В нем кровь играет молодая,
Огня надежды полон взор:
То скачет он во весь опор,
То дразнит бегуна лихого,
Кружит, подъемлет на дыбы
Иль дерзко мчит на холмы снова.

Рогдай угрюм, молчит —
ни слова...
Страшась неведомой судьбы
И мучась ревностью напрасной,
Всех больше беспокоен он,
И часто взор его ужасный
На князя мрачно устремлен.

Соперники одной дорогой
Все вместе едут целый день.
Днепра стал темен брег отлогий;
С востока льется ночи тень;
Туманы над Днепром глубоким;

Пора коням их отдохнуть.
Вот под горой путем широким
Широкий пересекся путь.
«Разъедемся, пора! – сказали, —
Безвестной вверимся судьбе».
И каждый конь, не чуя стали,
По воле путь избрал себе.

Что делаешь, Руслан несчастный,
Один в пустынной тишине?
Людмилу, свадьбы день ужасный,
Все, мнится, видел ты во сне.
На брови медный шлем надвинув,
Из мощных рук узду покинув,
Ты шагом едешь меж полей,
И медленно в душе твоей
Надежда гибнет, гаснет вера.

Но вдруг пред витязем пещера;
В пещере свет. Он прямо к ней
Идет под дремлющие своды,
Ровесники самой природы.
Вошел с уныньем: что же зрит?

В пещере старец; ясный вид,
Спокойный взор, брада седая;
Лампада перед ним горит;
За древней книгой он сидит,
Ее внимательно читая.
«Добро пожаловать, мой сын! –
Сказал с улыбкой он Руслану. —
Уж двадцать лет я здесь один
Во мраке старой жизни вяну;
Но наконец дождался дня,
Давно предвиденного мною.
Мы вместе сведены судьбою;
Садись и выслушай меня.
Руслан, лишился ты Людмилы;
Твой твердый дух теряет силы;
Но зла промчится быстрый миг:
На время рок тебя постиг.
С надеждой, верою веселой
Иди на все, не унывай;
Вперед! мечом и грудью смелой
Свой путь на полночь пробивай.

Узнай, Руслан: твой оскорбитель

Волшебник страшный Черномор,
Красавиц давний похититель,
Полнощных обладатель гор.
Еще ничей в его обитель
Не проникал доныне взор;
Но ты, злых козней истребитель,
В нее ты вступишь, и злодей
Погибнет от руки твоей.
Тебе сказать не должен боле:
Судьба твоих грядущих дней,
Мой сын, в твоей отныне воле».

Наш витязь старцу пал к ногам
И в радости лобзает руку.
Светлеет мир его очам,
И сердце позабыло муку.
Вновь ожил он; и вдруг опять
На вспыхнувшем лице кручина…
«Ясна тоски твоей причина;
Но грусть не трудно разогнать, —
Сказал старик, – тебе ужасна
Любовь седого колдуна;
Спокойся, знай: она напрасна

И юной деве не страшна.
Он звезды сводит с небосклона,
Он свистнет – задрожит луна;
Но против времени закона
Его наука не сильна.
Ревнивый, трепетный хранитель
Замков безжалостных дверей,
Он только немощный мучитель
Прелестной пленницы своей.
Вокруг нее он молча бродит,
Клянет жестокий жребий свой…
Но, добрый витязь, день проходит,
А нужен для тебя покой».

Руслан на мягкий мох ложится
Пред умирающим огнем;
Он ищет позабыться сном,
Вздыхает, медленно вертится…
Напрасно! Витязь наконец:
«Не спится что-то, мой отец!
Что делать: болен я душою,
И сон не в сон, как тошно жить.
Позволь мне сердце освежить

Твоей беседою святою.
Прости мне дерзостный вопрос.
Откройся: кто ты, благодатный,
Судьбы наперсник непонятный?
В пустыню кто тебя занес?»

Вздохнув с улыбкою печальной,
Старик в ответ: «Любезный сын,
Уж я забыл отчизны дальной
Угрюмый край. Природный финн,
В долинах, нам одним известных,
Гоняя стадо сел окрестных,
В беспечной юности я знал
Одни дремучие дубравы,
Ручьи, пещеры наших скал
Да дикой бедности забавы.
Но жить в отрадной тишине
Дано не долго было мне.

Тогда близ нашего селенья,
Как милый цвет уединенья,
Жила Наина. Меж подруг
Она гремела красотою.

Однажды утренней порою
Свои стада на темный луг
Я гнал, волынку надувая;
Передо мной шумел поток.
Одна, красавица младая
На берегу плела венок.
Меня влекла моя судьбина…
Ах, витязь, то была Наина!
Я к ней – и пламень роковой
За дерзкий взор мне был наградой,
И я любовь узнал душой
С ее небесною отрадой,
С ее мучительной тоской.

Умчалась года половина;
Я с трепетом открылся ей,
Сказал: люблю тебя, Наина.
Но робкой горести моей
Наина с гордостью внимала,
Лишь прелести свои любя,
И равнодушно отвечала:
«Пастух, я не люблю тебя!»

И все мне дико, мрачно стало:
Родная куща, тень дубров,
Веселы игры пастухов –
Ничто тоски не утешало.
В унынье сердце сохло, вяло.
И наконец задумал я
Оставить финские поля;
Морей неверные пучины
С дружиной братской переплыть
И бранной славой заслужить
Вниманье гордое Наины.
Я вызвал смелых рыбаков
Искать опасностей и злата.
Впервые тихий край отцов
Услышал бранный звук булата
И шум немирных челноков.
Я вдаль уплыл, надежды полный,
С толпой бесстрашных земляков;
Мы десять лет снега и волны
Багрили кровию врагов.
Молва неслась: цари чужбины
Страшились дерзости моей;

Их горделивые дружины
Бежали северных мечей.
Мы весело, мы грозно бились,
Делили дани и дары,
И с побежденными садились
За дружелюбные пиры.
Но сердце, полное Наиной,
Под шумом битвы и пиров,
Томилось тайною кручиной,
Искало финских берегов.
Пора домой, сказал я, други!
Повесим праздные кольчуги
Под сенью хижины родной.
Сказал – и весла зашумели;
И, страх оставя за собой,
В залив отчизны дорогой
Мы с гордой радостью влетели.

Сбылись давнишние мечты,
Сбылися пылкие желанья!
Минута сладкого свиданья,
И для меня блеснула ты!
К ногам красавицы надменной

Принес я меч окровавленный,
Кораллы, злато и жемчуг;
Пред нею, страстью упоенный,
Безмолвным роем окруженный
Ее завистливых подруг,
Стоял я пленником послушным;
Но дева скрылась от меня,
Примолвя с видом равнодушным:
«Герой, я не люблю тебя!»

К чему рассказывать, мой сын,
Чего пересказать нет силы?
Ах, и теперь один, один,
Душой уснув, в дверях могилы,
Я помню горесть, и порой,
Как о минувшем мысль родится,
По бороде моей седой
Слеза тяжелая катится.

Но слушай: в родине моей
Между пустынных рыбарей
Наука дивная таится.
Под кровом вечной тишины,

Среди лесов, в глуши далекой
Живут седые колдуны;
К предметам мудрости высокой
Все мысли их устремлены;
Все слышит голос их ужасный,
Что было и что будет вновь,
И грозной воле их подвластны
И гроб, и самая любовь.

И я, любви искатель жадный,
Решился в грусти безотрадной
Наину чарами привлечь
И в гордом сердце девы хладной
Любовь волшебствами зажечь.
Спешил в объятия свободы,
В уединенный мрак лесов;
И там, в ученье колдунов,
Провел невидимые годы.
Настал давно желанный миг,
И тайну страшную природы
Я светлой мыслию постиг:
Узнал я силу заклинаньям.
Венец любви, венец желаньям!

Теперь, Наина, ты моя!
Победа наша, думал я.
Но в самом деле победитель
Был рок, упорный мой гонитель.

В мечтах надежды молодой,
В восторге пылкого желанья,
Творю поспешно заклинанья,
Зову духов – и в тьме лесной
Стрела промчалась громовая,
Волшебный вихорь поднял вой,
Земля вздрогнула под ногой…
И вдруг сидит передо мной
Старушка дряхлая, седая,
Глазами впалыми сверкая,
С горбом, с трясучей головой,
Печальной ветхости картина.
Ах, витязь, то была Наина!..
Я ужаснулся и молчал,
Глазами страшный призрак мерил,
В сомненье все еще не верил
И вдруг заплакал, закричал:
«Возможно ль! ах, Наина, ты ли!

Наина, где твоя краса?
Скажи, ужели небеса
Тебя так страшно изменили?
Скажи, давно ль, оставя свет,
Расстался я с душой и с милой?
Давно ли?..» «Ровно сорок лет, —
Был девы роковой ответ, —
Сегодня семьдесят мне било.
Что делать, – мне пищит она, —
Толпою годы пролетели.
Прошла моя, твоя весна –
Мы оба постареть успели.
Но, друг, послушай: не беда
Неверной младости утрата.
Конечно, я теперь седа,
Немножко, может быть, горбата;
Не то, что в старину была,
Не так жива, не так мила;
Зато (прибавила болтунья)
Открою тайну: я колдунья!»

И было в самом деле так.
Немой, недвижный перед нею,

Я совершенный был дурак
Со всей премудростью моею.

Но вот ужасно: колдовство
Вполне свершилось по несчастью.
Мое седое божество
Ко мне пылало новой страстью.
Скривив улыбкой страшный рот,
Могильным голосом урод
Бормочет мне любви признанье.
Вообрази мое страданье!
Я трепетал, потупя взор;
Она сквозь кашель продолжала
Тяжелый, страстный разговор:
«Так, сердце я теперь узнала;
Я вижу, верный друг, оно
Для нежной страсти рождено;
Проснулись чувства, я сгораю,
Томлюсь желаньями любви…
Приди в объятия мои…
О милый, милый! умираю…»

И между тем она, Руслан,

Мигала томными глазами;
И между тем за мой кафтан
Держалась тощими руками;
И между тем – я обмирал,
От ужаса зажмуря очи;
И вдруг терпеть не стало мочи;
Я с криком вырвался, бежал.
Она вослед: «О, недостойный!
Ты возмутил мой век спокойный,
Невинной девы ясны дни!
Добился ты любви Наины
И презираешь – вот мужчины!
Изменой дышат все они!
Увы, сама себя вини;
Он обольстил меня, несчастный!
Я отдалась любови страстной…
Изменник, изверг! о позор!
Но трепещи, девичий вор!»

Так мы расстались. С этих пор
Живу в моем уединенье
С разочарованной душой;
И в мире старцу утешенье

Природа, мудрость и покой.
Уже зовет меня могила;
Но чувства прежние свои
Еще старушка не забыла
И пламя поздное любви
С досады в злобу превратила.
Душою черной зло любя,
Колдунья старая, конечно,
Возненавидит и тебя;
Но горе на земле не вечно».

Наш витязь с жадностью внимал
Рассказы старца; ясны очи
Дремотой легкой не смыкал
И тихого полета ночи
В глубокой думе не слыхал.
Но день блистает лучезарный…
Со вздохом витязь благодарный
Объемлет старца-колдуна;
Душа надеждою полна;
Выходит вон. Ногами стиснул
Руслан заржавшего коня,
В седле оправился, присвистнул.

«Отец мой, не оставь меня».
И скачет по пустому лугу.
Седой мудрец младому другу
Кричит вослед: «Счастливый путь!
Прости, люби свою супругу,
Советов старца не забудь!»

Песнь вторая

Соперники в искусстве брани,
Не знайте мира меж собой;
Несите мрачной славе дани
И упивайтеся враждой!
Пусть мир пред вами цепенеет,
Дивяся грозным торжествам:
Никто о вас не пожалеет,
Никто не помешает вам.
Соперники другого рода,
Вы, рыцари парнасских гор,
Старайтесь не смешить народа
Нескромным шумом ваших ссор;
Бранитесь – только осторожно.

Но вы, соперники в любви,
Живите дружно, если можно!
Поверьте мне, друзья мои:
Кому судьбою непременной
Девичье сердце суждено,
Тот будет мил назло вселенной;
Сердиться глупо и грешно.

Когда Рогдай неукротимый,
Глухим предчувствием томимый,
Оставя спутников своих,
Пустился в край уединенный
И ехал меж пустынь лесных,
В глубоку думу погруженный, —
Злой дух тревожил и смущал
Его тоскующую душу,
И витязь пасмурный шептал:
«Убью!.. преграды все разрушу…
Руслан!.. узнаешь ты меня…
Теперь-то девица поплачет…»
И вдруг, поворотив коня,
Во весь опор назад он скачет.

В то время доблестный Фарлаф,
Все утро сладко продремав,
Укрывшись от лучей полдневных,
У ручейка, наедине,
Для подкрепленья сил душевных,
Обедал в мирной тишине.
Как вдруг он видит: кто-то в поле,
Как буря, мчится на коне;
И, времени не тратя боле,
Фарлаф, покинув свой обед,
Копье, кольчугу, шлем, перчатки,
Вскочил в седло и без оглядки
Летит – а тот за ним вослед.
«Остановись, беглец бесчестный! –
Кричит Фарлафу неизвестный. —
Презренный, дай себя догнать!
Дай голову с тебя сорвать!»
Фарлаф, узнавши глас Рогдая,
Со страха скорчась, обмирал
И, верной смерти ожидая,
Коня еще быстрее гнал.
Так точно заяц торопливый,

Прижавши уши боязливо,
По кочкам, полем, сквозь леса
Скачками мчится ото пса.
На месте славного побега
Весной растопленного снега
Потоки мутные текли
И рыли влажну грудь земли.
Ко рву примчался конь ретивый,
Взмахнул хвостом и белой гривой,
Бразды стальные закусил
И через ров перескочил;
Но робкий всадник вверх ногами
Свалился тяжко в грязный ров,
Земли не взвидел с небесами
И смерть принять уж был готов.
Рогдай к оврагу подлетает;
Жестокий меч уж занесен;
«Погибни, трус! умри!» – вещает…
Вдруг узнает Фарлафа он;
Глядит, и руки опустились;
Досада, изумленье, гнев
В его чертах изобразились;

Скрыпя зубами, онемев,
Герой, с поникшею главою
Скорей отъехав ото рва,
Бесился… но едва, едва
Сам не смеялся над собою.

Тогда он встретил под горой
Старушечку чуть-чуть живую,
Горбатую, совсем седую.
Она дорожною клюкой
Ему на север указала.
«Ты там найдешь его», – сказала.
Рогдай весельем закипел
И к верной смерти полетел.

А наш Фарлаф? Во рву остался,
Дохнуть не смея; про себя
Он, лежа, думал: жив ли я?
Куда соперник злой девался?
Вдруг слышит прямо над собой
Старухи голос гробовой:
«Встань, молодец: все тихо в поле;
Ты никого не встретишь боле;

Я привела тебе коня;
Вставай, послушайся меня».

Смущенный витязь поневоле
Ползком оставил грязный ров;
Окрестность робко озирая,
Вздохнул и молвил оживая:
«Ну, слава богу, я здоров!»

«Поверь! – старуха продолжала, —
Людмилу мудрено сыскать;
Она далеко забежала;
Не нам с тобой ее достать.
Опасно разъезжать по свету;
Ты, право, будешь сам не рад.
Последуй моему совету,
Ступай тихохонько назад.
Под Киевом, в уединенье,
В своем наследственном селенье
Останься лучше без забот:
От нас Людмила не уйдет».

Сказав, исчезла. В нетерпенье
Благоразумный наш герой

Тотчас отправился домой,
Сердечно позабыв о славе
И даже о княжне младой;
И шум малейший по дубраве,
Полет синицы, ропот вод
Его бросали в жар и в пот.

Меж тем Руслан далеко мчится;
В глуши лесов, в глуши полей
Привычной думою стремится
К Людмиле, радости своей,
И говорит: «Найду ли друга?
Где ты, души моей супруга?
Увижу ль я твой светлый взор?
Услышу ль нежный разговор?
Иль суждено, чтоб чародея
Ты вечной пленницей была
И, скорбной девою старея,
В темнице мрачной отцвела?
Или соперник дерзновенный
Придет?.. Нет, нет, мой друг бесценный:
Еще при мне мой верный меч,

Еще глава не пала с плеч».

Однажды, темною порою,
По камням берегом крутым
Наш витязь ехал над рекою.
Все утихало. Вдруг за ним
Стрелы мгновенное жужжанье,
Кольчуги звон, и крик, и ржанье,
И топот по полю глухой.
«Стой!» – грянул голос громовой.
Он оглянулся: в поле чистом,
Подняв копье, летит со свистом
Свирепый всадник, и грозой
Помчался князь ему навстречу.
«Ага! догнал тебя! постой! –
Кричит наездник удалой, —
Готовься, друг, на смертну сечу;
Теперь ложись средь здешних мест;
А там ищи своих невест».
Руслан вспылал, вздрогнув от гнева;
Он узнает сей буйный глас…

Друзья мои! а наша дева?

Оставим витязей на час;
О них опять я вспомню вскоре.
А то давно пора бы мне
Подумать о младой княжне
И об ужасном Черноморе.

Моей причудливой мечты
Наперсник иногда нескромный,
Я рассказал, как ночью темной
Людмилы нежной красоты
От воспаленного Руслана
Сокрылись вдруг среди тумана.
Несчастная! когда злодей,
Рукою мощною своей
Тебя сорвав с постели брачной,
Взвился, как вихорь, к облакам
Сквозь тяжкий дым и воздух мрачный
И вдруг умчал к своим горам –
Ты чувств и памяти лишилась
И в страшном замке колдуна,
Безмолвна, трепетна, бледна,
В одно мгновенье очутилась.

С порога хижины моей
Так видел я, средь летних дней,
Когда за курицей трусливой
Султан курятника спесивый,
Петух мой по двору бежал
И сладострастными крылами
Уже подругу обнимал;
Над ними хитрыми кругами
Цыплят селенья старый вор,
Прияв губительные меры,
Носился, плавал коршун серый
И пал как молния на двор.
Взвился, летит. В когтях ужасных
Во тьму расселин безопасных
Уносит бедную злодей.
Напрасно, горестью своей
И хладным страхом пораженный,
Зовет любовницу петух…
Он видит лишь летучий пух,
Летучим ветром занесенный.

До утра юная княжна
Лежала, тягостным забвеньем,

Как будто страшным сновиденьем,
Объята – наконец она
Очнулась, пламенным волненьем
И смутным ужасом полна;
Душой летит за наслажденьем,
Кого-то ищет с упоеньем;
«Где ж милый, – шепчет, – где супруг?»
Зовет и помертвела вдруг.
Глядит с боязнию вокруг.
Людмила, где твоя светлица?
Лежит несчастная девица
Среди подушек пуховых,
Под гордой сенью балдахина;
Завесы, пышная перина
В кистях, в узорах дорогих;
Повсюду ткани парчевые;
Играют яхонты, как жар;
Кругом курильницы златые
Подъемлют ароматный пар;
Довольно… благо мне не надо
Описывать волшебный дом:

Уже давно Шехеразада
Меня предупредила в том.
Но светлый терем не отрада,
Когда не видим друга в нем.

Три девы, красоты чудесной,
В одежде легкой и прелестной
Княжне явились, подошли
И поклонились до земли.
Тогда неслышными шагами
Одна поближе подошла;
Княжне воздушными перстами
Златую косу заплела
С искусством, в наши дни не новым,
И обвила венцом перловым
Окружность бледного чела.
За нею, скромно взор склоняя,
Потом приближилась другая;
Лазурный, пышный сарафан
Одел Людмилы стройный стан;
Покрылись кудри золотые,
И грудь, и плечи молодые
Фатой, прозрачной, как туман.

Покров завистливый лобзает
Красы, достойные небес,
И обувь легкая сжимает
Две ножки, чудо из чудес.
Княжне последняя девица
Жемчужный пояс подает.
Меж тем незримая певица
Веселы песни ей поет.
Увы, ни камни ожерелья,
Ни сарафан, ни перлов ряд,
Ни песни лести и веселья
Ее души не веселят;
Напрасно зеркало рисует
Ее красы, ее наряд:
Потупя неподвижный взгляд,
Она молчит, она тоскует.

Те, кои, правду возлюбя,
На темном сердца дне читали,
Конечно, знают про себя,
Что если женщина в печали
Сквозь слез, украдкой, как-нибудь,
Назло привычке и рассудку,

Забудет в зеркало взглянуть, —
То грустно ей уж не на шутку.

Но вот Людмила вновь одна.
Не зная, что начать, она
К окну решетчату подходит,
И взор ее печально бродит
В пространстве пасмурной дали.
Все мертво. Снежные равнины
Коврами яркими легли;
Стоят угрюмых гор вершины
В однообразной белизне
И дремлют в вечной тишине;
Кругом не видно дымной кровли,
Не видно путника в снегах,
И звонкий рог веселой ловли
В пустынных не трубит горах;
Лишь изредка с унылым свистом
Бунтует вихорь в поле чистом
И на краю седых небес
Качает обнаженный лес.

В слезах отчаянья, Людмила

От ужаса лицо закрыла.
Увы, что ждет ее теперь!
Бежит в серебряную дверь;
Она с музыкой отворилась,
И наша дева очутилась
В саду. Пленительный предел:
Прекраснее садов Армиды
И тех, которыми владел
Царь Соломон иль князь Тавриды.
Пред нею зыблются, шумят
Великолепные дубровы;
Аллеи пальм, и лес лавровый,
И благовонных миртов ряд,
И кедров гордые вершины,
И золотые апельсины
Зерцалом вод отражены;
Пригорки, рощи и долины
Весны огнем оживлены;
С прохладой вьется ветер майский
Средь очарованных полей,
И свищет соловей китайский
Во мраке трепетных ветвей;

Летят алмазные фонтаны
С веселым шумом к облакам:
Под ними блещут истуканы
И, мнится, живы; Фидий сам,
Питомец Феба и Паллады,
Любуясь ими, наконец,
Свой очарованный резец
Из рук бы выронил с досады.
Дробясь о мраморны преграды,
Жемчужной, огненной дугой
Валятся, плещут водопады;
И ручейки в тени лесной
Чуть вьются сонною волной.
Приют покоя и прохлады,
Сквозь вечну зелень здесь и там
Мелькают светлые беседки;
Повсюду роз живые ветки
Цветут и дышат по тропам.
Но безутешная Людмила
Идет, идет и не глядит;
Волшебства роскошь ей постыла,
Ей грустен неги светлый вид;

Куда, сама не зная, бродит,
Волшебный сад кругом обходит,
Свободу горьким дав слезам,
И взоры мрачные возводит
К неумолимым небесам.
Вдруг осветился взор прекрасный:
К устам она прижала перст;
Казалось, умысел ужасный
Рождался… Страшный путь отверст:
Высокий мостик над потоком
Пред ней висит на двух скалах;
В унынье тяжком и глубоком
Она подходит – и в слезах
На воды шумные взглянула,
Ударила, рыдая, в грудь,
В волнах решилась утонуть –
Однако в воды не прыгнула
И дале продолжала путь.

Моя прекрасная Людмила,
По солнцу бегая с утра,
Устала, слезы осушила,
В душе подумала: пора!

На травку села, оглянулась –
И вдруг над нею сень шатра,
Шумя, с прохладой развернулась;
Обед роскошный перед ней;
Прибор из яркого кристалла;
И в тишине из-за ветвей
Незрима арфа заиграла.
Дивится пленная княжна,
Но втайне думает она:
«Вдали от милого, в неволе,
Зачем мне жить на свете боле?
О ты, чья гибельная страсть
Меня терзает и лелеет,
Мне не страшна злодея власть:
Людмила умереть умеет!
Не нужно мне твоих шатров,
Ни скучных песен, ни пиров –
Не стану есть, не буду слушать,
Умру среди твоих садов!»
Подумала – и стала кушать.

Княжна встает, и вмиг шатер,
И пышной роскоши прибор,

И звуки арфы… все пропало;
По-прежнему все тихо стало;
Людмила вновь одна в садах
Скитается из рощи в рощи;
Меж тем в лазурных небесах
Плывет луна, царица нощи,
Находит мгла со всех сторон
И тихо на холмах почила;
Княжну невольно клонит сон,
И вдруг неведомая сила
Нежней, чем вешний ветерок,
Ее на воздух поднимает,
Несет по воздуху в чертог
И осторожно опускает
Сквозь фимиам вечерних роз
На ложе грусти, ложе слез.
Три девы вмиг опять явились
И вкруг нее засуетились,
Чтоб на ночь пышный снять убор;
Но их унылый, смутный взор
И принужденное молчанье
Являли втайне состраданье

И немощный судьбам укор.
Но поспешим: рукой их нежной
Раздета сонная княжна;
Прелестна прелестью небрежной,
В одной сорочке белоснежной
Ложится почивать она.
Со вздохом девы поклонились,
Скорей как можно удалились
И тихо притворили дверь.
Что ж наша пленница теперь!
Дрожит как лист, дохнуть не смеет;
Хладеют перси, взор темнеет;
Мгновенный сон от глаз бежит;
Не спит, удвоила вниманье,
Недвижно в темноту глядит…
Все мрачно, мертвое молчанье!
Лишь сердца слышит трепетанье…
И мнится… шепчет тишина,
Идут – идут к ее постели;
В подушки прячется княжна –
И вдруг… о страх!.. и в самом деле
Раздался шум; озарена

Мгновенным блеском тьма ночная,
Мгновенно дверь отворена;
Безмолвно, гордо выступая,
Нагими саблями сверкая,
Арапов длинный ряд идет
Попарно, чинно, сколь возможно,
И на подушках осторожно
Седую бороду несет;
И входит с важностью за нею,
Подъяв величественно шею,
Горбатый карлик из дверей:
Его-то голове обритой,
Высоким колпаком покрытой,
Принадлежала борода.
Уж он приближился: тогда
Княжна с постели соскочила,
Седого карлу за колпак
Рукою быстрой ухватила,
Дрожащий занесла кулак
И в страхе завизжала так,
Что всех арапов оглушила.
Трепеща, скорчился бедняк,

Княжны испуганной бледнее;
Зажавши уши поскорее,
Хотел бежать, но в бороде
Запутался, упал и бьется;
Встает, упал; в такой беде
Арапов черный рой мятется;
Шумят, толкаются, бегут,
Хватают колдуна в охапку
И вон распутывать несут,
Оставя у Людмилы шапку.

Но что-то добрый витязь наш?
Вы помните ль нежданну встречу?
Бери свой быстрый карандаш,
Рисуй, Орловский, ночь и сечу!
При свете трепетном луны
Сразились витязи жестоко;
Сердца их гневом стеснены,
Уж копья брошены далеко,
Уже мечи раздроблены,
Кольчуги кровию покрыты,
Щиты трещат, в куски разбиты…
Они схватились на конях;

Взрывая к небу черный прах,
Под ними борзы кони бьются;
Борцы, недвижно сплетены,
Друг друга стиснув, остаются,
Как бы к седлу пригвождены;
Их члены злобой сведены;
Переплелись и костенеют;
По жилам быстрый огнь бежит;
На вражьей груди грудь дрожит –
И вот колеблются, слабеют –
Кому-то пасть... вдруг витязь мой,
Вскипев, железною рукой
С седла наездника срывает,
Подъемлет, держит над собой
И в волны с берега бросает.
«Погибни! – грозно восклицает: –
Умри, завистник злобный мой!»

Ты догадался, мой читатель,
С кем бился доблестный Руслан:
То был кровавых битв искатель,
Рогдай, надежда киевлян,
Людмилы мрачный обожатель.

Он вдоль днепровских берегов
Искал соперника следов;
Нашел, настиг, но прежня сила
Питомцу битвы изменила,
И Руси древний удалец
В пустыне свой нашел конец.
И слышно было, что Рогдая
Тех вод русалка молодая
На хладны перси приняла
И, жадно витязя лобзая,
На дно со смехом увлекла,
И долго после, ночью темной
Бродя близ тихих берегов,
Богатыря призрак огромный
Пугал пустынных рыбаков.

Песнь третия

Напрасно вы в тени таились
Для мирных, счастливых друзей,
Стихи мои! Вы не сокрылись
От гневных зависти очей.

Уж бледный критик, ей в услугу,
Вопрос мне сделал роковой:
Зачем Русланову подругу,
Как бы на смех ее супругу,
Зову и девой и княжной?
Ты видишь, добрый мой читатель,
Тут злобы черную печать!
Скажи, Зоил, скажи, предатель,
Ну как и что мне отвечать?
Красней, несчастный, бог с тобою!
Красней, я спорить не хочу;
Довольный тем, что прав душою,
В смиренной кротости молчу.
Но ты поймешь меня, Климена,
Потупишь томные глаза,
Ты, жертва скучного Гимена…
Я вижу: тайная слеза
Падет на стих мой, сердцу внятный;
Ты покраснела, взор погас;
Вздохнула молча… вздох понятный!
Ревнивец: бойся, близок час;
Амур с Досадой своенравной

Вступили в смелый заговор,
И для главы твоей бесславной
Готов уж мстительный убор.

Уж утро хладное сияло
На темени полнощных гор;
Но в дивном замке все молчало.
В досаде скрытой Черномор,
Без шапки, в утреннем халате,
Зевал сердито на кровати.
Вокруг брады его седой
Рабы толпились молчаливы,
И нежно гребень костяной
Расчесывал ее извивы;
Меж тем, для пользы и красы,
На бесконечные усы
Лились восточны ароматы,
И кудри хитрые вились;
Как вдруг, откуда ни возьмись,
В окно влетает змий крылатый;
Гремя железной чешуей,
Он в кольца быстрые согнулся
И вдруг Наиной обернулся

Пред изумленною толпой.
«Приветствую тебя, – сказала, —
Собрат, издавна чтимый мной!
Досель я Черномора знала
Одною громкою молвой;
Но тайный рок соединяет
Теперь нас общею враждой;
Тебе опасность угрожает,
Нависла туча над тобой;
И голос оскорбленной чести
Меня к отмщению зовет».

Со взором, полным хитрой лести,
Ей карла руку подает,
Вещая: «Дивная Наина!
Мне драгоценен твой союз.
Мы посрамим коварство Финна;
Но мрачных козней не боюсь:
Противник слабый мне не страшен;
Узнай чудесный жребий мой:
Сей благодатной бородой
Недаром Черномор украшен.
Доколь власов ее седых

Враждебный меч не перерубит,
Никто из витязей лихих,
Никто из смертных не погубит
Малейших замыслов моих;
Моею будет век Людмила,
Руслан же гробу обречен!»
И мрачно ведьма повторила:
«Погибнет он! погибнет он!»
Потом три раза прошипела,
Три раза топнула ногой
И черным змием улетела.

Блистая в ризе парчевой,
Колдун, колдуньей ободренный,
Развеселясь, решился вновь
Нести к ногам девицы пленной
Усы, покорность и любовь.
Разряжен карлик бородатый,
Опять идет в ее палаты;
Проходит длинный комнат ряд:
Княжны в них нет. Он дале, в сад,
В лавровый лес, к решетке сада,
Вдоль озера, вкруг водопада,

Под мостики, в беседки… нет!
Княжна ушла, пропал и след!
Кто выразит его смущенье,
И рев, и трепет исступленья?
С досады дня не взвидел он.
Раздался карлы дикий стон:
«Сюда, невольники, бегите!
Сюда, надеюсь я на вас!
Сейчас Людмилу мне сыщите!
Скорее, слышите ль? сейчас!
Не то – шутите вы со мною –
Всех удавлю вас бородою!»

Читатель, расскажу ль тебе,
Куда красавица девалась?
Всю ночь она своей судьбе
В слезах дивилась и – смеялась.
Ее пугала борода,
Но Черномор уж был известен,
И был смешон, а никогда
Со смехом ужас несовместен.
Навстречу утренним лучам
Постель оставила Людмила

И взор невольный обратила
К высоким, чистым зеркалам;
Невольно кудри золотые
С лилейных плеч приподняла;
Невольно волосы густые
Рукой небрежной заплела;
Свои вчерашние наряды
Нечаянно в углу нашла;
Вздохнув, оделась и с досады
Тихонько плакать начала;
Однако с верного стекла,
Вздыхая, не сводила взора,
И девице пришло на ум,
В волненье своенравных дум,
Примерить шапку Черномора.
Все тихо, никого здесь нет;
Никто на девушку не взглянет…
А девушке в семнадцать лет
Какая шапка не пристанет!
Рядиться никогда не лень!
Людмила шапкой завертела;
На брови, прямо, набекрень

И задом наперед надела.
И что ж? о чудо старых дней!
Людмила в зеркале пропала;
Перевернула – перед ней
Людмила прежняя предстала;
Назад надела – снова нет;
Сняла – и в зеркале! «Прекрасно!
Добро, колдун, добро, мой свет!
Теперь мне здесь уж безопасно;
Теперь избавлюсь от хлопот!»
И шапку старого злодея
Княжна, от радости краснея,
Надела задом наперед.

Но возвратимся же к герою.
Не стыдно ль заниматься нам
Так долго шапкой, бородою,
Руслана поруча судьбам?
Свершив с Рогдаем бой жестокий,
Проехал он дремучий лес;
Пред ним открылся дол широкий
При блеске утренних небес.
Трепещет витязь поневоле:

Он видит старой битвы поле.
Вдали все пусто; здесь и там
Желтеют кости; по холмам
Разбросаны колчаны, латы;
Где сбруя, где заржавый щит;
В костях руки здесь меч лежит;
Травой оброс там шлем косматый
И старый череп тлеет в нем;
Богатыря там остов целый
С его поверженным конем
Лежит недвижный; копья, стрелы
В сырую землю вонзены,
И мирный плющ их обвивает…
Ничто безмолвной тишины
Пустыни сей не возмущает,
И солнце с ясной вышины
Долину смерти озаряет.

Со вздохом витязь вкруг себя
Взирает грустными очами.
«О поле, поле, кто тебя
Усеял мертвыми костями?
Чей борзый конь тебя топтал

В последний час кровавой битвы?
Кто на тебе со славой пал?
Чьи небо слышало молитвы?
Зачем же, поле, смолкло ты
И поросло травой забвенья?..
Времен от вечной темноты,
Быть может, нет и мне спасенья!
Быть может, на холме немом
Поставят тихий гроб Русланов,
И струны громкие Баянов
Не будут говорить о нем!»

Но вскоре вспомнил витязь мой,
Что добрый меч герою нужен
И даже панцирь; а герой
С последней битвы безоружен.
Обходит поле он вокруг;
В кустах, среди костей забвенных,
В громаде тлеющих кольчуг,
Мечей и шлемов раздробленных
Себе доспехов ищет он.
Проснулись гул и степь немая,
Поднялся в поле треск и звон;

Он поднял щит, не выбирая,
Нашел и шлем, и звонкий рог;
Но лишь меча сыскать не мог.
Долину брани объезжая,
Он видит множество мечей,
Но все легки да слишком малы,
А князь красавец был не вялый,
Не то что витязь наших дней.
Чтоб чем-нибудь играть от скуки,
Копье стальное взял он в руки,
Кольчугу он надел на грудь
И далее пустился в путь.

Уж побледнел закат румяный
Над усыпленною землей;
Дымятся синие туманы,
И всходит месяц золотой;
Померкла степь. Тропою темной
Задумчив едет наш Руслан
И видит: сквозь ночной туман
Вдали чернеет холм огромный,
И что-то страшное храпит.
Он ближе к холму, ближе – слышит:

Чудесный холм как будто дышит.
Руслан внимает и глядит
Бестрепетно, с покойным духом;
Но, шевеля пугливым ухом,
Конь упирается, дрожит,
Трясет упрямой головою,
И грива дыбом поднялась.
Вдруг холм, безоблачной луною
В тумане бледно озарясь,
Яснеет; смотрит храбрый князь –
И чудо видит пред собою.
Найду ли краски и слова?
Пред ним живая голова.
Огромны очи сном объяты;
Храпит, качая шлем пернатый,
И перья в темной высоте,
Как тени, ходят, развеваясь.
В своей ужасной красоте
Над мрачной степью возвышаясь,
Безмолвием окружена,
Пустыни сторож безымянной,
Руслану предстоит она

Громадой грозной и туманной.
В недоуменье хочет он
Таинственный разрушить сон.
Вблизи осматривая диво,
Объехал голову кругом
И стал пред носом молчаливо;
Щекотит ноздри копием,
И, сморщась, голова зевнула,
Глаза открыла и чихнула…
Поднялся вихорь, степь дрогнула,
Взвилася пыль; с ресниц, с усов,
С бровей слетела стая сов;
Проснулись рощи молчаливы,
Чихнуло эхо – конь ретивый
Заржал, запрыгал, отлетел,
Едва сам витязь усидел,
И вслед раздался голос шумный:
«Куда ты, витязь неразумный?
Ступай назад, я не шучу!
Как раз нахала проглочу!»
Руслан с презреньем оглянулся,
Браздами удержал коня

И с гордым видом усмехнулся.
«Чего ты хочешь от меня? –
Нахмурясь, голова вскричала. —
Вот гостя мне судьба послала!
Послушай, убирайся прочь!
Я спать хочу, теперь уж ночь,
Прощай!» Но витязь знаменитый,
Услыша грубые слова,
Воскликнул с важностью сердитой:
«Молчи, пустая голова!
Слыхал я истину, бывало:
Хоть лоб широк, да мозгу мало!
Я еду, еду, не свищу,
А как наеду, не спущу!»

Тогда, от ярости немея,
Стесненной злобой пламенея,
Надулась голова; как жар,
Кровавы очи засверкали;
Напенясь, губы задрожали,
Из уст, ушей поднялся пар –
И вдруг она, что было мочи,
Навстречу князю стала дуть;

Напрасно конь, зажмуря очи,
Склонив главу, натужа грудь,
Сквозь вихорь, дождь и сумрак ночи
Неверный продолжает путь;
Объятый страхом, ослепленный,
Он мчится вновь, изнеможенный,
Далече в поле отдохнуть.
Вновь обратиться витязь хочет –
Вновь отражен, надежды нет!
А голова ему вослед,
Как сумасшедшая, хохочет,
Гремит: «Ай, витязь! ай, герой!
Куда ты? тише, тише, стой!
Эй, витязь, шею сломишь даром;
Не трусь, наездник, и меня
Порадуй хоть одним ударом,
Пока не заморил коня».
И между тем она героя
Дразнила страшным языком.
Руслан, досаду в сердце кроя,
Грозит ей молча копием,
Трясет его рукой свободной,

И, задрожав, булат холодный
Вонзился в дерзостный язык.
И кровь из бешеного зева
Рекою побежала вмиг.
От удивленья, боли, гнева,
В минуту дерзости лишась,
На князя голова глядела,
Железо грызла и бледнела.
В спокойном духе горячась,
Так иногда средь нашей сцены
Плохой питомец Мельпомены,
Внезапным свистом оглушен,
Уж ничего не видит он,
Бледнеет, ролю забывает,
Дрожит, поникнув головой,
И, заикаясь, умолкает
Перед насмешливой толпой.
Счастливым пользуясь мгновеньем,
К объятой голове смущеньем,
Как ястреб, богатырь летит
С подъятой, грозною десницей
И в щеку тяжкой рукавицей

С размаха голову разит;
И степь ударом огласилась;
Кругом росистая трава
Кровавой пеной обагрилась,
И, зашатавшись, голова
Перевернулась, покатилась,
И шлем чугунный застучал.
Тогда на месте опустелом
Меч богатырский засверкал.
Наш витязь в трепете веселом
Его схватил и к голове
По окровавленной траве
Бежит с намереньем жестоким
Ей нос и уши обрубить;
Уже Руслан готов разить,
Уже взмахнул мечом широким –
Вдруг, изумленный, внемлет он
Главы молящей жалкий стон…
И тихо меч он опускает,
В нем гнев свирепый умирает,
И мщенье бурное падет
В душе, моленьем усмиренной:

Так на долине тает лед,
Лучом полудня пораженный.

«Ты вразумил меня, герой, —
Со вздохом голова сказала, —
Твоя десница доказала,
Что я виновен пред тобой;
Отныне я тебе послушен;
Но, витязь, будь великодушен!
Достоин плача жребий мой.
И я был витязь удалой!
В кровавых битвах супостата
Себе я равного не зрел;
Счастлив, когда бы не имел
Соперником меньшого брата!
Коварный, злобный Черномор,
Ты, ты всех бед моих виною!
Семейства нашего позор,
Рожденный карлой, с бородою,
Мой дивный рост от юных дней
Не мог он без досады видеть
И стал за то в душе своей
Меня, жестокий, ненавидеть.

Я был всегда немного прост,
Хотя высок; а сей несчастный,
Имея самый глупый рост,
Умен как бес – и зол ужасно.
Притом же, знай, к моей беде,
В его чудесной бороде
Таится сила роковая,
И, все на свете презирая,
Доколе борода цела –
Изменник не страшится зла.
Вот он однажды с видом дружбы,
«Послушай, – хитро мне сказал, —
Не откажись от важной службы:
Я в черных книгах отыскал,
Что за восточными горами,
На тихих моря берегах,
В глухом подвале, под замками
Хранится меч – и что же? страх!
Я разобрал во тьме волшебной,
Что волею судьбы враждебной
Сей меч известен будет нам;
Что нас он обои́х погубит:

Мне бороду мою отрубит,
Тебе главу; суди же сам,
Сколь важно нам приобретенье
Сего созданья злых духов!»
«Ну, что же? где тут затрудненье? –
Сказал я карле, – я готов;
Иду, хоть за пределы света».
И сосну на плечо взвалил,
А на другое для совета
Злодея брата посадил;
Пустился в дальную дорогу,
Шагал, шагал и, слава богу,
Как бы пророчеству назло,
Все счастливо сначало шло.
За отдаленными горами
Нашли мы роковой подвал;
Я разметал его руками
И потаенный меч достал.
Но нет! судьба того хотела:
Меж нами ссора закипела –
И было, признаюсь, о чем!
Вопрос: кому владеть мечом?

Я спорил, карла горячился;
Бранились долго; наконец
Уловку выдумал хитрец,
Притих и будто бы смягчился.
«Оставим бесполезный спор, —
Сказал мне важно Черномор, —
Мы тем союз наш обесславим;
Рассудок в мире жить велит;
Судьбе решить мы предоставим,
Кому сей меч принадлежит.
К земле приникнем ухом оба
(Чего не выдумает злоба!),
И кто услышит первый звон,
Тот и владей мечом до гроба». —
Сказал и лег на землю он.
Я сдуру также растянулся;
Лежу, не слышу ничего,
Смекая: обману его!
Но сам жестоко обманулся.
Злодей в глубокой тишине,
Привстав, на цыпочках ко мне
Подкрался сзади, размахнулся;

Как вихорь свистнул острый меч,
И прежде чем я оглянулся,
Уж голова слетела с плеч –
И сверхъестественная сила
В ней жизни дух остановила.
Мой остов тернием оброс;
Вдали, в стране, людьми забвенной,
Истлел мой прах непогребенный;
Но злобный карла перенес
Меня в сей край уединенный,
Где вечно должен был стеречь
Тобой сегодня взятый меч.
О витязь! Ты храним судьбою,
Возьми его, и бог с тобою!
Быть может, на своем пути
Ты карлу-чародея встретишь –
Ах, если ты его заметишь,
Коварству, злобе отомсти!
И наконец я счастлив буду,
Спокойно мир оставлю сей –
И в благодарности моей
Твою пощечину забуду».

Песнь четвертая

Я каждый день, восстав от сна,
Благодарю сердечно бога
За то, что в наши времена
Волшебников не так уж много.
К тому же – честь и слава им! –
Женитьбы наши безопасны…
Их замыслы не так ужасны
Мужьям, девицам молодым.
Но есть волшебники другие,
Которых ненавижу я:
Улыбка, очи голубые
И голос милый – о друзья!
Не верьте им: они лукавы!
Страшитесь, подражая мне,
Их упоительной отравы,
И почивайте в тишине.
Поэзии чудесный гений,
Певец таинственных видений,
Любви, мечтаний и чертей,

Могил и рая верный житель,
И музы ветреной моей
Наперсник, пестун и хранитель!
Прости мне, северный Орфей,
Что в повести моей забавной
Теперь вослед тебе лечу
И лиру музы своенравной
Во лжи прелестной обличу.

Друзья мои, вы все слыхали,
Как бесу в древни дни злодей
Предал сперва себя с печали,
А там и души дочерей;
Как после щедрым подаяньем,
Молитвой, верой, и постом,
И непритворным покаяньем
Снискал заступника в святом;
Как умер он и как заснули
Его двенадцать дочерей:
И нас пленили, ужаснули
Картины тайных сих ночей,
Сии чудесные виденья,
Сей мрачный бес, сей божий гнев,

Живые грешника мученья
И прелесть непорочных дев.
Мы с ними плакали, бродили
Вокруг зубчатых замка стен,
И сердцем тронутым любили
Их тихий сон, их тихий плен;
Душой Вадима призывали,
И пробужденье зрели их,
И часто инокинь святых
На гроб отцовский провожали.
И что ж, возможно ль?.. нам солгали!
Но правду возвещу ли я?..

Младой Ратмир, направя к югу
Нетерпеливый бег коня,
Уж думал пред закатом дня
Нагнать Русланову супругу.
Но день багряный вечерел;
Напрасно витязь пред собою
В туманы дальние смотрел:
Все было пусто над рекою.
Зари последний луч горел
Над ярко позлащенным бором.

Наш витязь мимо черных скал
Тихонько проезжал и взором
Ночлега меж дерев искал.
Он на долину выезжает
И видит: замок на скалах
Зубчаты стены возвышает;
Чернеют башни на углах;
И дева по стене высокой,
Как в море лебедь одинокий,
Идет, зарей освещена;
И девы песнь едва слышна
Долины в тишине глубокой.

«Ложится в поле мрак ночной;
От волн поднялся ветер хладный.
Уж поздно, путник молодой!
Укройся в терем наш отрадный.

Здесь ночью нега и покой,
А днем и шум, и пированье.
Приди на дружное призванье,
Приди, о путник молодой!

У нас найдешь красавиц рой;

Их нежны речи и лобзанье.
Приди на тайное призванье,
Приди, о путник молодой!

Тебе мы с утренней зарей
Наполним кубок на прощанье.
Приди на мирное призванье,
Приди, о путник молодой!

Ложится в поле мрак ночной;
От волн поднялся ветер хладный.
Уж поздно, путник молодой!
Укройся в терем наш отрадный».

Она манит, она поет;
И юный хан уж под стеною;
Его встречают у ворот
Девицы красные толпою;
При шуме ласковых речей
Он окружен; с него не сводят
Они пленительных очей;
Две девицы коня уводят;
В чертоги входит хан младой,
За ним отшельниц милых рой;

Одна снимает шлем крылатый,
Другая кованые латы,
Та меч берет, та пыльный щит;
Одежда неги заменит
Железные доспехи брани.
Но прежде юношу ведут
К великолепной русской бане.
Уж волны дымные текут
В ее серебряные чаны,
И брызжут хладные фонтаны;
Разостлан роскошью ковер;
На нем усталый хан ложится;
Прозрачный пар над ним клубится;
Потупя неги полный взор,
Прелестные, полунагие,
В заботе нежной и немой,
Вкруг хана девы молодые
Теснятся резвою толпой.
Над рыцарем иная машет
Ветвями молодых берез,
И жар от них душистый пашет;
Другая соком вешних роз

Усталы члены прохлаждает
И в ароматах потопляет
Темнокудрявые власы.
Восторгом витязь упоенный
Уже забыл Людмилы пленной
Недавно милые красы;
Томится сладостным желаньем;
Бродящий взор его блестит,
И, полный страстным ожиданьем,
Он тает сердцем, он горит.

Но вот выходит он из бани.
Одетый в бархатные ткани,
В кругу прелестных дев, Ратмир
Садится за богатый пир.
Я не Омер: в стихах высоких
Он может воспевать один
Обеды греческих дружин,
И звон, и пену чаш глубоких,
Милее, по следам Парни,
Мне славить лирою небрежной
И наготу в ночной тени,
И поцелуй любови нежной!

Луною замок озарен;
Я вижу терем отдаленный,
Где витязь томный, воспаленный
Вкушает одинокий сон;
Его чело, его ланиты
Мгновенным пламенем горят;
Его уста полуоткрыты
Лобзанье тайное манят;
Он страстно, медленно вздыхает,
Он видит их – и в пылком сне
Покровы к сердцу прижимает.
Но вот в глубокой тишине
Дверь отворилась; пол ревнивый
Скрыпит под ножкой торопливой,
И при серебряной луне
Мелькнула дева. Сны крылаты,
Сокройтесь, отлетите прочь!
Проснись – твоя настала ночь!
Проснися – дорог миг утраты!..
Она подходит, он лежит
И в сладострастной неге дремлет;
Покров его с одра скользит,

И жаркий пух чело объемлет.
В молчанье дева перед ним
Стоит недвижно, бездыханна,
Как лицемерная Диана
Пред милым пастырем своим;
И вот она, на ложе хана
Коленом опершись одним,
Вздохнув, лицо к нему склоняет
С томленьем, с трепетом живым,
И сон счастливца прерывает
Лобзаньем страстным и немым…

Но, други, девственная лира
Умолкла под моей рукой;
Слабеет робкий голос мой –
Оставим юного Ратмира;
Не смею песней продолжать:
Руслан нас должен занимать,
Руслан, сей витязь беспримерный,
В душе герой, любовник верный.
Упорным боем утомлен,
Под богатырской головою
Он сладостный вкушает сон.

Но вот уж раннею зарею
Сияет тихий небосклон;
Все ясно; утра луч игривый
Главы косматый лоб златит.
Руслан встает, и конь ретивый
Уж витязя стрелою мчит.

И дни бегут; желтеют нивы;
С дерев спадает дряхлый лист;
В лесах осенний ветра свист
Певиц пернатых заглушает;
Тяжелый, пасмурный туман
Нагие холмы обвивает;
Зима приближилась – Руслан
Свой путь отважно продолжает
На дальный север; с каждым днем
Преграды новые встречает:
То бьется он с богатырем,
То с ведьмою, то с великаном,
То лунной ночью видит он,
Как будто сквозь волшебный сон,
Окружены седым туманом,
Русалки, тихо на ветвях

Качаясь, витязя младого
С улыбкой хитрой на устах
Манят, не говоря ни слова…
Но, тайным промыслом храним,
Бесстрашный витязь невредим;
В его душе желанье дремлет,
Он их не видит, им не внемлет,
Одна Людмила всюду с ним.

Но между тем, никем не зрима,
От нападений колдуна
Волшебной шапкою хранима,
Что делает моя княжна,
Моя прекрасная Людмила?
Она, безмолвна и уныла,
Одна гуляет по садам,
О друге мыслит и вздыхает,
Иль, волю дав своим мечтам,
К родимым киевским полям
В забвенье сердца улетает;
Отца и братьев обнимает,
Подружек видит молодых
И старых мамушек своих –

Забыты плен и разлученье!
Но вскоре бедная княжна
Свое теряет заблужденье
И вновь уныла и одна.
Рабы влюбленного злодея,
И день и ночь, сидеть не смея,
Меж тем по замку, по садам
Прелестной пленницы искали,
Метались, громко призывали,
Однако все по пустякам.
Людмила ими забавлялась:
В волшебных рощах иногда
Без шапки вдруг она являлась
И кликала: «Сюда, сюда!»
И все бросались к ней толпою;
Но в сторону – незрима вдруг –
Она неслышною стопою
От хищных убегала рук.
Везде всечасно замечали
Ее минутные следы:
То позлащенные плоды
На шумных ветвях исчезали,

То капли ключевой воды
На луг измятый упадали:
Тогда наверно в замке знали,
Что пьет иль кушает княжна.
На ветвях кедра иль березы
Скрываясь по ночам, она
Минутного искала сна –
Но только проливала слезы,
Звала супруга и покой,
Томилась грустью и зевотой,
И редко, редко пред зарей,
Склонясь ко древу головой,
Дремала тонкою дремотой;
Едва редела ночи мгла,
Людмила к водопаду шла
Умыться хладною струею:
Сам карла утренней порою
Однажды видел из палат,
Как под невидимой рукою
Плескал и брызгал водопад.
С своей обычною тоскою
До новой ночи, здесь и там,

Она бродила по садам:
Нередко под вечер слыхали
Ее приятный голосок;
Нередко в рощах поднимали
Иль ею брошенный венок,
Или клочки персидской шали,
Или заплаканный платок.

Жестокой страстью уязвленный,
Досадой, злобой омраченный,
Колдун решился наконец
Поймать Людмилу непременно.
Так Лемноса хромой кузнец[34],
Прияв супружеский венец
Из рук прелестной Цитереи,
Раскинул сеть ее красам,
Открыв насмешливым богам
Киприды нежные затеи...

Скучая, бедная княжна
В прохладе мраморной беседки
Сидела тихо близ окна

---

[34] Примечания: 34
Гефест — бог подземного огня.

И сквозь колеблемые ветки
Смотрела на цветущий луг.
Вдруг слышит – кличут: «Милый
друг!»
И видит верного Руслана.
Его черты, походка, стан;
Но бледен он, в очах туман,
И на бедре живая рана –
В ней сердце дрогнуло. «Руслан!
Руслан!.. он точно!» И стрелою
К супругу пленница летит,
В слезах, трепеща, говорит:
«Ты здесь… ты ранен… что с тобою?»
Уже достигла, обняла:
О ужас… призрак исчезает!
Княжна в сетях; с ее чела
На землю шапка упадает.
Хладея, слышит грозный крик:
«Она моя!» – и в тот же миг
Зрит колдуна перед очами.
Раздался девы жалкий стон,
Падет без чувств – и дивный сон

Объял несчастную крылами.

Что будет с бедною княжной!
О страшный вид: волшебник хилый
Ласкает дерзостной рукой
Младые прелести Людмилы!
Ужели счастлив будет он?
Чу… вдруг раздался рога звон,
И кто-то карлу вызывает.
В смятенье, бледный чародей
На деву шапку надевает;
Трубят опять; звучней, звучней!
И он летит к безвестной встрече,
Закинув бороду за плечи.

Песнь пятая

Ах, как мила моя княжна!
Мне нрав ее всего дороже:
Она чувствительна, скромна,
Любви супружеской верна,
Немножко ветрена… так что же?
Еще милее тем она.

Всечасно прелестию новой
Умеет нас она пленить;
Скажите: можно ли сравнить
Ее с Дельфирою суровой?
Одной – судьба послала дар
Обворожать сердца и взоры;
Ее улыбка, разговоры
Во мне любви рождают жар.
А та – под юбкою гусар,
Лишь дайте ей усы да шпоры!
Блажен, кого под вечерок
В уединенный уголок
Моя Людмила поджидает
И другом сердца назовет;
Но, верьте мне, блажен и тот,
Кто от Дельфиры убегает
И даже с нею незнаком.
Да, впрочем, дело не о том!
Но кто трубил? Кто чародея
На сечу грозну вызывал?
Кто колдуна перепугал?
Руслан. Он, местью пламенея,

Достиг обители злодея.
Уж витязь под горой стоит,
Призывный рог, как буря, воет,
Нетерпеливый конь кипит
И снег копытом мочным роет.
Князь карлу ждет. Внезапно он
По шлему крепкому стальному
Рукой незримой поражен;
Удар упал подобно грому;
Руслан подъемлет смутный взор
И видит – прямо над главою –
С подъятой, страшной булавою
Летает карла Черномор.
Щитом покрывшись, он нагнулся,
Мечом потряс и замахнулся;
Но тот взвился под облака;
На миг исчез – и свысока
Шумя летит на князя снова.
Проворный витязь отлетел,
И в снег с размаха рокового
Колдун упал – да там и сел;
Руслан, не говоря ни слова,

С коня долой, к нему спешит,
Поймал, за бороду хватает,
Волшебник силится, кряхтит
И вдруг с Русланом улетает…
Ретивый конь вослед глядит;
Уже колдун под облаками;
На бороде герой висит;
Летят над мрачными лесами,
Летят над дикими горами,
Летят над бездною морской;
От напряженья костенея,
Руслан за бороду злодея
Упорной держится рукой.
Меж тем, на воздухе слабея
И силе русской изумясь,
Волшебник гордому Руслану
Коварно молвит: «Слушай, князь!
Тебе вредить я перестану;
Младое мужество любя,
Забуду все, прощу тебя,
Спущусь – но только с уговором…»
– «Молчи, коварный чародей! –

Прервал наш витязь: —
с Черномором,
С мучителем жены своей,
Руслан не знает договора!
Сей грозный меч накажет вора.
Лети хоть до ночной звезды,
А быть тебе без бороды!»
Боязнь объемлет Черномора;
В досаде, в горести немой,
Напрасно длинной бородой
Усталый карла потрясает:
Руслан ее не выпускает
И щиплет волосы порой.
Два дни колдун героя носит,
На третий он пощады просит:
«О рыцарь, сжалься надо мной;
Едва дышу; нет мочи боле;
Оставь мне жизнь, в твоей я воле;
Скажи – спущусь, куда велишь...»
– «Теперь ты наш: ага, дрожишь!
Смирись, покорствуй русской силе!
Неси меня к моей Людмиле».

Смиренно внемлет Черномор;
Домой он с витязем пустился;
Летит – и мигом очутился
Среди своих ужасных гор.
Тогда Руслан одной рукою
Взял меч сраженной головы
И, бороду схватив другою,
Отсек ее, как горсть травы.
«Знай наших! – молвил он
жестоко, —
Что, хищник, где твоя краса?
Где сила?» – и на шлем высокий
Седые вяжет волоса;
Свистя зовет коня лихого;
Веселый конь летит и ржет;
Наш витязь карлу чуть живого
В котомку за седло кладет,
А сам, боясь мгновенья траты,
Спешит на верх горы крутой,
Достиг и с радостной душой
Летит в волшебные палаты.
Вдали завидя шлем брадатый,

Залог победы роковой,
Пред ним арапов чудный рой,
Толпы невольниц боязливых,
Как призраки, со всех сторон
Бегут – и скрылись. Ходит он
Один средь храмин горделивых,
Супругу милую зовет –
Лишь эхо сводов молчаливых
Руслану голос подает;
В волненье чувств нетерпеливых
Он отворяет двери в сад –
Идет, идет – и не находит;
Кругом смущенный взор обводит –
Все мертво: рощицы молчат,
Беседки пусты; на стремнинах,
Вдоль берегов ручья, в долинах
Нигде Людмилы следу нет,
И ухо ничего не внемлет.
Внезапный князя хлад объемлет,
В очах его темнеет свет,
В уме возникли мрачны думы…
«Быть может, горесть… плен

угрюмый…
Минута… волны…» В сих мечтах
Он погружен. С немой тоскою
Поникнул витязь головою;
Его томит невольный страх;
Недвижим он, как мертвый камень;
Мрачится разум; дикий пламень
И яд отчаянной любви
Уже текут в его крови.
Казалось – тень княжны прекрасной
Коснулась трепетным устам…
И вдруг, неистовый, ужасный,
Стремится витязь по садам;
Людмилу с воплем призывает,
С холмов утесы отрывает,
Все рушит, все крушит мечом –
Беседки, рощи упадают,
Древа, мосты в волнах ныряют,
Степь обнажается кругом!
Далеко гулы повторяют
И рев, и треск, и шум, и гром;
Повсюду меч звенит и свищет,

Прелестный край опустошен –
Безумный витязь жертвы ищет,
С размаха вправо, влево он
Пустынный воздух рассекает…
И вдруг – нечаянный удар
С княжны невидимой сбивает
Прощальный Черномора дар…
Волшебства вмиг исчезла сила:
В сетях открылася Людмила!
Не веря сам своим очам,
Нежданным счастьем упоенный,
Наш витязь падает к ногам
Подруги верной, незабвенной,
Целует руки, сети рвет,
Любви, восторга слезы льет,
Зовет ее – но дева дремлет,
Сомкнуты очи и уста,
И сладострастная мечта
Младую грудь ее подъемлет.
Руслан с нее не сводит глаз,
Его терзает вновь кручина…
Но вдруг знакомый слышит глас,

Глас добродетельного Финна:
«Мужайся, князь! В обратный путь
Ступай со спящею Людмилой;
Наполни сердце новой силой,
Любви и чести верен будь.
Небесный гром на злобу грянет,
И воцарится тишина –
И в светлом Киеве княжна
Перед Владимиром восстанет
От очарованного сна».

Руслан, сим гласом оживленный,
Берет в объятия жену,
И тихо с ношей драгоценной
Он оставляет вышину
И сходит в дол уединенный.

В молчанье, с карлой за седлом,
Поехал он своим путем;
В его руках лежит Людмила,
Свежа, как вешняя заря,
И на плечо богатыря
Лицо спокойное склонила.

Власами, свитыми в кольцо,
Пустынный ветерок играет;
Как часто грудь ее вздыхает!
Как часто тихое лицо
Мгновенной розою пылает!
Любовь и тайная мечта
Русланов образ ей приносят,
И с томным шопотом уста
Супруга имя произносят…
В забвенье сладком ловит он
Ее волшебное дыханье,
Улыбку, слезы, нежный стон
И сонных персей волнованье…

Меж тем по долам, по горам,
И в белый день, и по ночам
Наш витязь едет непрестанно.
Еще далек предел желанный,
А дева спит. Но юный князь,
Бесплодным пламенем томясь,
Ужель, страдалец постоянный,
Супругу только сторожил
И в целомудренном мечтанье,

Смирив нескромное желанье,
Свое блаженство находил?
Монах, который сохранил
Потомству верное преданье
О славном витязе моем,
Нас уверяет смело в том:
И верю я! Без разделенья
Унылы, грубы наслажденья:
Мы прямо счастливы вдвоем.
Пастушки, сон княжны прелестной
Не походил на ваши сны,
Порой томительной весны,
На мураве, в тени древесной.
Я помню маленький лужок
Среди березовой дубравы,
Я помню темный вечерок,
Я помню Лиды сон лукавый…
Ах, первый поцелуй любви,
Дрожащий, легкий, торопливый,
Не разогнал, друзья мои,
Ее дремоты терпеливой…
Но полно, я болтаю вздор!

К чему любви воспоминанье?
Ее утеха и страданье
Забыты мною с давних пор;
Теперь влекут мое вниманье
Княжна, Руслан и Черномор.

Пред ними стелется равнина,
Где ели изредка взошли;
И грозного холма вдали
Чернеет круглая вершина
Небес на яркой синеве.
Руслан глядит – и догадался,
Что подъезжает к голове;
Быстрее борзый конь помчался;
Уж видно чудо из чудес;
Она глядит недвижным оком;
Власы ее как черный лес,
Поросший на челе высоком;
Ланиты жизни лишены,
Свинцовой бледностью покрыты;
Уста огромные открыты,
Огромны зубы стеснены…
Над полумертвой головою

Последний день уж тяготел.
К ней храбрый витязь прилетел
С Людмилой, с карлой за спиною.
Он крикнул: «Здравствуй, голова!
Я здесь! наказан твой изменник!
Гляди: вот он, злодей наш пленник!»
И князя гордые слова
Ее внезапно оживили,
На миг в ней чувство разбудили,
Очнулась будто ото сна,
Взглянула, страшно застонала…
Узнала витязя она
И брата с ужасом узнала.
Надулись ноздри; на щеках
Багровый огнь еще родился,
И в умирающих глазах
Последний гнев изобразился.
В смятенье, в бешенстве немом
Она зубами скрежетала
И брату хладным языком
Укор невнятный лепетала…
Уже ее в тот самый час

Кончалось долгое страданье:
Чела мгновенный пламень гас,
Слабело тяжкое дыханье,
Огромный закатился взор,
И вскоре князь и Черномор
Узрели смерти содроганье…
Она почила вечным сном.
В молчанье витязь удалился;
Дрожащий карлик за седлом
Не смел дышать, не шевелился
И чернокнижным языком
Усердно демонам молился.

На склоне темных берегов
Какой-то речки безымянной,
В прохладном сумраке лесов,
Стоял поникшей хаты кров,
Густыми соснами венчанный.
В теченье медленном река
Вблизи плетень из тростника
Волною сонной омывала
И вкруг него едва журчала
При легком шуме ветерка.

Долина в сих местах таилась,
Уединенна и темна;
И там, казалось, тишина
С начала мира воцарилась.
Руслан остановил коня.
Все было тихо, безмятежно;
От рассветающего дня
Долина с рощею прибрежной
Сквозь утренний сияла дым.
Руслан на луг жену слагает,
Садится близ нее, вздыхает
С уныньем сладким и немым;
И вдруг он видит пред собою
Смиренный парус челнока
И слышит песню рыбака
Над тихоструйною рекою.
Раскинув невод по волнам,
Рыбак, на весла наклоненный,
Плывет к лесистым берегам,
К порогу хижины смиренной.
И видит добрый князь Руслан:
Челнок ко брегу приплывает;

Из темной хаты выбегает
Младая дева; стройный стан,
Власы, небрежно распущенны,
Улыбка, тихий взор очей,
И грудь, и плечи обнаженны,
Все мило, все пленяет в ней.
И вот они, обняв друг друга,
Садятся у прохладных вод,
И час беспечного досуга
Для них с любовью настает.
Но в изумленье молчаливом
Кого же в рыбаке счастливом
Наш юный витязь узнает?
Хазарский хан, избранный славой,
Ратмир, в любви, в войне кровавой
Его соперник молодой,
Ратмир в пустыне безмятежной
Людмилу, славу позабыл
И им навеки изменил
В объятиях подруги нежной.

Герой приближился, и вмиг
Отшельник узнает Руслана,

Встает, летит. Раздался крик…
И обнял князь младого хана.
«Что вижу я? – спросил герой, —
Зачем ты здесь, зачем оставил
Тревоги жизни боевой
И меч, который ты прославил?»
«Мой друг, – ответствовал рыбак, —
Душе наскучил бранной славы
Пустой и гибельный призрак.
Поверь: невинные забавы,
Любовь и мирные дубравы
Милее сердцу во сто крат –
Теперь, утратив жажду брани,
Престал платить безумству дани,
И, верным счастием богат,
Я все забыл, товарищ милый,
Все, даже прелести Людмилы». —
«Любезный хан, я очень рад! –
Сказал Руслан, – она со мною». —
«Возможно ли, какой судьбою?
Что слышу? Русская княжна…
Она с тобою, где ж она?

Позволь... но нет, боюсь измены;
Моя подруга мне мила;
Моей счастливой перемены
Она виновницей была;
Она мне жизнь, она мне радость!
Она мне возвратила вновь
Мою утраченную младость,
И мир, и чистую любовь.
Напрасно счастье мне сулили
Уста волшебниц молодых;
Двенадцать дев меня любили:
Я для нее покинул их;
Оставил терем их веселый
В тени хранительных дубров;
Сложил и меч, и шлем тяжелый,
Забыл и славу, и врагов.
Отшельник мирный и безвестный,
Остался в счастливой глуши,
С тобой, друг милый, друг прелестный,
С тобою, свет моей души!»

Пастушка милая внимала
Друзей открытый разговор

И, устремив на хана взор,
И улыбалась, и вздыхала.

Рыбак и витязь на брегах
До темной ночи просидели
С душой и сердцем на устах –
Часы невидимо летели.
Чернеет лес, темна гора;
Встает луна – все тихо стало;
Герою в путь давно пора.
Накинув тихо покрывало
На деву спящую, Руслан
Идет и на коня садится;
Задумчиво безмолвный хан
Душой вослед ему стремится,
Руслану счастия, побед,
И славы, и любви желает…
И думы гордых, юных лет
Невольной грустью оживляет…

Зачем судьбой не суждено
Моей непостоянной лире
Геройство воспевать одно

И с ним (незнаемые в мире)
Любовь и дружбу старых лет?
Печальной истины поэт,
Зачем я должен для потомства
Порок и злобу обнажать
И тайны козни вероломства
В правдивых песнях обличать?
Княжны искатель недостойный,
Охоту к славе потеряв,
Никем не знаемый, Фарлаф
В пустыне дальней и спокойной
Скрывался и Наины ждал.
И час торжественный настал.
К нему волшебница явилась,
Вещая: «Знаешь ли меня?
Ступай за мной; седлай коня!»
И ведьма кошкой обратилась;
Оседлан конь, она пустилась;
Тропами мрачными дубрав
За нею следует Фарлаф.

Долина тихая дремала,
В ночной одетая туман,

Луна во мгле перебегала
Из тучи в тучу и курган
Мгновенным блеском озаряла.
Под ним в безмолвии Руслан
Сидел с обычною тоскою
Пред усыпленною княжною.
Глубоку думу думал он,
Мечты летели за мечтами,
И неприметно веял сон
Над ним холодными крылами.
На деву смутными очами
В дремоте томной он взглянул
И, утомленною главою
Склонясь к ногам ее, заснул.

И снится вещий сон герою:
Он видит, будто бы княжна
Над страшной бездны глубиною
Стоит недвижна и бледна…
И вдруг Людмила исчезает,
Стоит один над бездной он…
Знакомый глас, призывный стон
Из тихой бездны вылетает…

Руслан стремится за женой;
Стремглав летит во тьме глубокой...
И видит вдруг перед собой:
Владимир, в гриднице высокой,
В кругу седых богатырей,
Между двенадцатью сынами,
С толпою названных гостей
Сидит за браными столами.
И так же гневен старый князь,
Как в день ужасный расставанья,
И все сидят, не шевелясь,
Не смея перервать молчанья.
Утих веселый шум гостей,
Не ходит чаша круговая...
И видит он среди гостей
В бою сраженного Рогдая:
Убитый, как живой, сидит;
Из опененного стакана
Он, весел, пьет и не глядит
На изумленного Руслана.
Князь видит и младого хана,
Друзей и недругов... и вдруг

Раздался гуслей беглый звук
И голос вещего Баяна,
Певца героев и забав.
Вступает в гридницу Фарлаф,
Ведет он за руку Людмилу;
Но старец, с места не привстав,
Молчит, склонив главу унылу,
Князья, бояре – все молчат,
Душевные движенья кроя.
И все исчезло – смертный хлад
Объемлет спящего героя.
В дремоту тяжко погружен,
Он льет мучительные слезы,
В волненье мыслит: это сон!
Томится, но зловещей грезы,
Увы, прервать не в силах он.

Луна чуть светит над горою;
Объяты рощи темнотою,
Долина в мертвой тишине…
Изменник едет на коне.

Перед ним открылася поляна;

Он видит сумрачный курган;
У ног Людмилы спит Руслан,
И ходит конь кругом кургана.
Фарлаф с боязнию глядит;
В тумане ведьма исчезает,
В нем сердце замерло, дрожит,
Из хладных рук узду роняет,
Тихонько обнажает меч,
Готовясь витязя без боя
С размаха надвое рассечь…
К нему подъехал. Конь героя,
Врага почуя, закипел,
Заржал и топнул. Знак напрасный!
Руслан не внемлет; сон ужасный,
Как груз, над ним отяготел!..
Изменник, ведьмой ободренный,
Герою в грудь рукой презренной
Вонзает трижды хладну сталь…
И мчится боязливо вдаль
С своей добычей драгоценной.

Всю ночь бесчувственный Руслан
Лежал во мраке под горою.

Часы летели. Кровь рекою
Текла из воспаленных ран.
Поутру, взор открыв туманный,
Пуская тяжкий, слабый стон,
С усильем приподнялся он,
Взглянул, поник главою бранной –
И пал недвижный, бездыханный.

Песнь шестая

Ты мне велишь, о друг мой нежный,
На лире легкой и небрежной
Старинны были напевать
И музе верной посвящать
Часы бесценного досуга…
Ты знаешь, милая подруга:
Поссорясь с ветреной молвой,
Твой друг, блаженством упоенный,
Забыл и труд уединенный,
И звуки лиры дорогой.
От гармонической забавы
Я, негой упоен, отвык…

Дышу тобой – и гордой славы
Невнятен мне призывный клик!
Меня покинул тайный гений
И вымыслов, и сладких дум;
Любовь и жажда наслаждений
Одни преследуют мой ум.
Но ты велишь, но ты любила
Рассказы прежние мои,
Преданья славы и любви;
Мой богатырь, моя Людмила,
Владимир, ведьма, Черномор
И Финна верные печали
Твое мечтанье занимали;
Ты, слушая мой легкий вздор,
С улыбкой иногда дремала;
Но иногда свой нежный взор
Нежнее на певца бросала…
Решусь: влюбленный говорун,
Касаюсь вновь ленивых струн;
Сажусь у ног твоих и снова
Бренчу про витязя младого.

Но что сказал я? Где Руслан?

Лежит он мертвый в чистом поле;
Уж кровь его не льется боле,
Над ним летает жадный вран,
Безгласен рог, недвижны латы,
Не шевелится шлем косматый!

Вокруг Руслана ходит конь,
Поникнув гордой головою,
В его глазах исчез огонь!
Не машет гривой золотою,
Не тешится, не скачет он,
И ждет, когда Руслан воспрянет…
Но князя крепок хладный сон,
И долго щит его не грянет.

А Черномор? Он за седлом,
В котомке, ведьмою забытый,
Еще не знает ни о чем;
Усталый, сонный и сердитый
Княжну, героя моего
Бранил от скуки молчаливо;
Не слыша долго ничего,
Волшебник выглянул – о диво!

Он видит, богатырь убит;
В крови потопленный лежит;
Людмилы нет, все пусто в поле;
Злодей от радости дрожит
И мнит: свершилось, я на воле!
Но старый карла был неправ.

Меж тем, Наиной осененный,
С Людмилой, тихо усыпленной,
Стремится к Киеву Фарлаф:
Летит, надежды, страха полный;
Пред ним уже днепровски волны
В знакомых пажитях шумят;
Уж видит златоверхий град;
Уже Фарлаф по граду мчится,
И шум на стогнах восстает;
В волненье радостном народ
Валит за всадником, теснится;
Бегут обрадовать отца:
И вот изменник у крыльца.

Влача в душе печали бремя,
Владимир-солнышко в то время

В высоком тереме своем
Сидел, томясь привычной думой.
Бояре, витязи кругом
Сидели с важностью угрюмой.
Вдруг внемлет он: перед крыльцом
Волненье, крики, шум чудесный;
Дверь отворилась; перед ним
Явился воин неизвестный;
Все встали с шепотом глухим
И вдруг смутились, зашумели:
«Людмила здесь! Фарлаф… ужели?»
В лице печальном изменясь,
Встает со стула старый князь,
Спешит тяжелыми шагами
К несчастной дочери своей,
Подходит; отчими руками
Он хочет прикоснуться к ней;
Но дева милая не внемлет,
И очарованная дремлет
В руках убийцы – все глядят
На князя в смутном ожиданье;
И старец беспокойный взгляд

Вперил на витязя в молчанье.
Но, хитро перст к устам прижав,
«Людмила спит, – сказал Фарлаф, —
Я так нашел ее недавно
В пустынных муромских лесах
У злого лешего в руках;
Там совершилось дело славно;
Три дня мы бились; луна
Над боем трижды подымалась;
Он пал, а юная княжна
Мне в руки сонною досталась;
И кто прервет сей дивный сон?
Когда настанет пробужденье?
Не знаю – скрыт судьбы закон!
А нам надежда и терпенье
Одни остались в утешенье».

И вскоре с вестью роковой
Молва по граду полетела;
Народа пестрою толпой
Градская площадь закипела;
Печальный терем всем открыт;
Толпа волнуется, валит

Туда, где на одре высоком,
На одеяле парчевом
Княжна лежит во сне глубоком;
Князья и витязи кругом
Стоят унылы; гласы трубны,
Рога, тимпаны, гусли, бубны
Гремят над нею; старый князь,
Тоской тяжелой изнурясь,
К ногам Людмилы сединами
Приник с безмолвными слезами;
И бледный близ него Фарлаф
В немом раскаянье, в досаде
Трепещет, дерзость потеряв.

Настала ночь. Никто во граде
Очей бессонных не смыкал;
Шумя, теснились все друг к другу:
О чуде всякий толковал;
Младой супруг свою супругу
В светлице скромной забывал.
Но только свет луны двурогой
Исчез пред утренней зарей,
Весь Киев новою тревогой

Смутился! Клики, шум и вой
Возникли всюду. Киевляне
Толпятся на стене градской…
И видят: в утреннем тумане
Шатры белеют за рекой;
Щиты, как зарево, блистают,
В полях наездники мелькают,
Вдали подъемля черный прах;
Идут походные телеги,
Костры пылают на холмах.
Беда: восстали печенеги!

Но в это время вещий Финн,
Духов могучий властелин,
В своей пустыне безмятежной,
С спокойным сердцем ожидал,
Чтоб день судьбины неизбежной,
Давно предвиденный, восстал.

В немой глуши степей горючих,
За дальней цепью диких гор,
Жилища ветров, бурь гремучих,
Куда и ведьмы смелый взор

Проникнуть в поздний час боится,
Долина чудная таится,
И в той долине два ключа:
Один течет волной живою,
По камням весело журча,
Тот льется мертвою водою;
Кругом все тихо, ветры спят,
Прохлада вешняя не веет,
Столетни сосны не шумят,
Не вьются птицы, лань не смеет
В жар летний пить из тайных вод;
Чета духов с начала мира,
Безмолвная на лоне мира,
Дремучий берег стережет…
С двумя кувшинами пустыми
Предстал отшельник перед ними;
Прервали духи давний сон
И удалились страха полны.
Склонившись, погружает он
Сосуды в девственные волны;
Наполнил, в воздухе пропал
И очутился в два мгновенья

В долине, где Руслан лежал
В крови, безгласный, без движенья;
И стал над рыцарем старик,
И вспрыснул мертвою водою,
И раны засияли вмиг,
И труп чудесной красотою
Процвел; тогда водой живою
Героя старец окропил,
И бодрый, полный новых сил,
Трепеща жизнью молодою,
Встает Руслан, на ясный день
Очами жадными взирает,
Как безобразный сон, как тень,
Перед ним минувшее мелькает.
Но где Людмила? Он один!
В нем сердце, вспыхнув, замирает.
Вдруг витязь вспрянул; вещий Финн
Его зовет и обнимает:
«Судьба свершилась, о мой сын!
Тебя блаженство ожидает;
Тебя зовет кровавый пир;
Твой грозный меч бедою грянет;

На Киев снидет кроткий мир,
И там она тебе предстанет.
Возьми заветное кольцо,
Коснися им чела Людмилы,
И тайных чар исчезнут силы,
Врагов смутит твое лицо,
Настанет мир, погибнет злоба.
Достойны счастья будьте оба!
Прости надолго, витязь мой!
Дай руку… там, за дверью гроба –
Не прежде – свидимся с тобой!»
Сказал, исчезнул. Упоенный
Восторгом пылким и немым,
Руслан, для жизни пробужденный,
Подъемлет руки вслед за ним.
Но ничего не слышно боле!
Руслан один в пустынном поле;
Запрыгав, с карлой за седлом,
Русланов конь нетерпеливый
Бежит и ржет, махая гривой;
Уж князь готов, уж он верхом,
Уж он летит живой и здравый

Через поля, через дубравы.

Но между тем какой позор
Являет Киев осажденный?
Там, устремив на нивы взор,
Народ, уныньем пораженный,
Стоит на башнях и стенах
И в страхе ждет небесной казни;
Стенанья робкие в домах,
На стогнах тишина боязни;
Один, близ дочери своей,
Владимир в горестной молитве;
И храбрый сонм богатырей
С дружиной верною князей
Готовится к кровавой битве.

И день настал. Толпы врагов
С зарею двинулись с холмов;
Неукротимые дружины,
Волнуясь, хлынули с равнины
И потекли к стене градской;
Во граде трубы загремели,
Бойцы сомкнулись, полетели

Навстречу рати удалой,
Сошлись – и заварился бой.
Почуя смерть, взыграли кони,
Пошли стучать мечи о брони;
Со свистом туча стрел взвилась,
Равнина кровью залилась;
Стремглав наездники помчались,
Дружины конные смешались;
Сомкнутой, дружною стеной
Там рубится со строем строй;
Со всадником там пеший бьется;
Там конь испуганный несется;
Там клики битвы, там побег;
Там русский пал, там печенег;
Тот опрокинут булавою;
Тот легкой поражен стрелою;
Другой, придавленный щитом,
Растоптан бешеным конем…
И длился бой до темной ночи;
Ни враг, ни наш не одолел!
За грудами кровавых тел
Бойцы сомкнули томны очи,

И крепок был их бранный сон;
Лишь изредка на поле битвы
Был слышен падших скорбный стон
И русских витязей молитвы.

Бледнела утренняя тень,
Волна сребрилася в потоке,
Сомнительный рождался день
На отуманенном востоке.
Яснели холмы и леса,
И просыпались небеса.
Еще в бездейственном покое
Дремало поле боевое;
Вдруг сон прервался: вражий стан
С тревогой шумною воспрянул,
Внезапный крик сражений грянул;
Смутилось сердце киевлян;
Бегут нестройными толпами
И видят: в поле меж врагами,
Блистая в латах, как в огне,
Чудесный воин на коне
Грозой несется, колет, рубит,
В ревущий рог, летая, трубит…

То был Руслан. Как божий гром,
Наш витязь пал на басурмана;
Он рыщет с карлой за седлом
Среди испуганного стана.
Где ни просвищет грозный меч,
Где конь сердитый ни промчится,
Везде главы слетают с плеч
И с воплем строй на строй валится;
В одно мгновенье бранный луг
Покрыт холмами тел кровавых,
Живых, раздавленных, безглавых;
Громадой копий, стрел, кольчуг.
На трубный звук, на голос боя
Дружины конные славян
Помчались по следам героя,
Сразились… гибни, басурман!
Объемлет ужас печенегов;
Питомцы бурные набегов
Зовут рассеянных коней,
Противиться не смеют боле
И с диким воплем в пыльном поле
Бегут от киевских мечей,

Обречены на жертву аду;
Их сонмы русский меч казнит;
Ликует Киев... Но по граду
Могучий богатырь летит;
В деснице держит меч победный;
Копье сияет, как звезда;
Струится кровь с кольчуги медной;
На шлеме вьется борода;
Летит, надеждой окриленный,
По стогнам шумным в княжий дом.
Народ, восторгом упоенный,
Толпится с кликами кругом,
И князя радость оживила.
В безмолвный терем входит он,
Где дремлет чудным сном Людмила;
Владимир, в думу погружен,
У ног ее стоял унылый.
Он был один. Его друзей
Война влекла в поля кровавы.
Но с ним Фарлаф, чуждаясь славы,
Вдали от вражеских мечей,
В душе презрев тревоги стана,

Стоял на страже у дверей.
Едва злодей узнал Руслана,
В нем кровь остыла, взор погас,
В устах открытых замер глас,
И пал без чувств он на колена…
Достойной казни ждет измена!
Но, помня тайный дар кольца,
Руслан летит к Людмиле спящей,
Ее спокойного лица
Касается рукой дрожащей…
И чудо: юная княжна,
Вздохнув, открыла светлы очи!
Казалось, будто бы она
Дивилася столь долгой ночи;
Казалось, что какой-то сон
Ее томил мечтой неясной,
И вдруг узнала – это он!
И князь в объятиях прекрасной…
Воскреснув пламенной душой,
Руслан не видит, не внимает,
И старец в радости немой,
Рыдая, милых обнимает.

Чем кончу длинный мой рассказ?
Ты угадаешь, друг мой милый!
Неправый старца гнев погас;
Фарлаф пред ним и пред Людмилой
У ног Руслана объявил
Свой стыд и мрачное злодейство;
Счастливый князь ему простил;
Лишенный силы чародейства,
Был принят карла во дворец;
И, бедствий празднуя конец,
Владимир в гриднице высокой
Запировал в семье своей.

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.

Эпилог

Так, мира житель равнодушный,
На лоне праздной тишины,
Я славил лирою послушной
Преданья темной старины.
Я пел – и забывал обиды

Слепого счастья и врагов,
Измены ветреной Дориды
И сплетни шумные глупцов.
На крыльях вымысла носимый,
Ум улетал за край земной;
И между тем грозы незримой
Сбиралась туча надо мной!..
Я погибал… Святой хранитель
Первоначальных бурных дней,
О дружба, нежный утешитель
Болезненной души моей!
Ты умолила непогоду;
Ты сердцу возвратила мир;
Ты сохранила мне свободу,
Кипящей младости кумир!
Забытый светом и молвою,
Далече от брегов Невы,
Теперь я вижу пред собою
Кавказа гордые главы.
Над их вершинами крутыми,
На скате каменных стремнин,
Питаюсь чувствами немыми

И чудной прелестью картин
Природы дикой и угрюмой;
Душа, как прежде, каждый час
Полна томительною думой –
Но огнь поэзии погас.
Ищу напрасно впечатлений:
Она прошла, пора стихов,
Пора любви, веселых снов,
Пора сердечных вдохновений!
Восторгов краткий день протек –
И скрылась от меня навек
Богиня тихих песнопений…

1817–1820

Кавказский пленник
Посвящение

Н. Н. Раевскому

Прими с улыбкою, мой друг,
Свободной музы приношенье:
Тебе я посвятил изгнанной лиры пенье
И вдохновенный свой досуг.
Когда я погибал, безвинный, безотрадный,
И шепот клеветы внимал со всех сторон,
Когда кинжал измены хладный,
Когда любви тяжелый сон
Меня терзали и мертвили,
Я близ тебя еще спокойство находил;
Я сердцем отдыхал – друг друга мы любили:
И бури надо мной свирепость утомили,
Я в мирной пристани богов благословил.

Во дни печальные разлуки
Мои задумчивые звуки
Напоминали мне Кавказ,

Где пасмурный Бешту [1], пустынник величавый,
Аулов[2] и полей властитель пятиглавый,
Был новый для меня Парнас.
Забуду ли его кремнистые вершины,
Гремучие ключи, увядшие равнины,
Пустыни знойные, края, где ты со мной
Делил души младые впечатленья;
Где рыскает в горах воинственный разбой,
И дикий гений вдохновенья
Таится в тишине глухой?
Ты здесь найдешь воспоминанья,
Быть может, милых сердцу дней,
Противуречия страстей,
Мечты знакомые, знакомые страданья
И тайный глас души моей.

Мы в жизни розно шли: в объятиях по-

коя

Едва, едва расцвел и вслед отца-героя

В поля кровавые, под тучи вражьих стрел,

Младенец избранный, ты гордо полетел.

Отечество тебя ласкало с умиленьем,

Как жертву милую, как верный свет надежд.

Я рано скорбь узнал, постигнут был гоненьем;

Я жертва клеветы и мстительных невежд;

Но, сердце укрепив свободой и терпеньем,

Я ждал беспечно лучших дней;

И счастие моих друзей

Мне было сладким утешеньем.

Часть I

В ауле, на своих порогах,

Черкесы праздные сидят.

Сыны Кавказа говорят
О бранных, гибельных тревогах,
О красоте своих коней,
О наслажденьях дикой неги;
Воспоминают прежних дней
Неотразимые набеги,
Обманы хитрых узденей [3],
Удары шашек [4] их жестоких,
И меткость неизбежных стрел,
И пепел разоренных сел,
И ласки пленниц черноких.

Текут беседы в тишине;
Луна плывет в ночном тумане;
И вдруг пред ними на коне
Черкес. Он быстро на аркане
Младого пленника влачил.
«Вот русский!» – хищник возопил.
Аул на крик его сбежался
Ожесточенною толпой;
Но пленник хладный и немой,
С обезображенной главой,
Как труп, недвижим оставался.

Лица врагов не видит он,
Угроз и криков он не слышит;
Над ним летает смертный сон
И холодом тлетворным дышит.

И долго пленник молодой
Лежал в забвении тяжелом.
Уж полдень над его главой
Пылал в сиянии веселом;
И жизни дух проснулся в нем,
Невнятный стон в устах раздался;
Согретый солнечным лучом,
Несчастный тихо приподнялся;
Кругом обводит слабый взор…
И видит: неприступных гор
Над ним воздвигнулась громада,
Гнездо разбойничьих племен,
Черкесской вольности ограда.
Воспомнил юноша свой плен,
Как сна ужасного тревоги,
И слышит: загремели вдруг
Его закованные ноги…
Все, все сказал ужасный звук;

Затмилась перед ним природа.
Прости, священная свобода!
Он раб.
За саклями[5] лежит
Он у колючего забора.
Черкесы в поле, нет надзора,
В пустом ауле все молчит.
Пред ним пустынные равнины
Лежат зеленой пеленой;
Там холмов тянутся грядой
Однообразные вершины;
Меж них уединенный путь
В дали теряется угрюмой:
И пленника младого грудь
Тяжелой взволновалась думой…

В Россию дальный путь ведет,
В страну, где пламенную младость
Он гордо начал без забот;
Где первую познал он радость,
Где много милого любил,
Где обнял грозное страданье,
Где бурной жизнью погубил

Надежду, радость и желанье,
И лучших дней воспоминанье
В увядшем сердце заключил.

Людей и свет изведал он
И знал неверной жизни цену.
В сердцах друзей нашел измену,
В мечтах любви безумный сон,
Наскуча жертвой быть привычной
Давно презренной суеты,
И неприязни двуязычной,
И простодушной клеветы,
Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы.

Свобода! он одной тебя
Еще искал в пустынном мире.
Страстями чувства истребя,
Охолодев к мечтам и к лире,
С волненьем песни он внимал,
Одушевленные тобою,

И с верой, пламенной мольбою
Твой гордый идол обнимал.

Свершилось... целью упованья
Не зрит он в мире ничего.
И вы, последние мечтанья,
И вы сокрылись от него.
Он раб. Склонясь главой на камень,
Он ждет, чтоб с сумрачной зарей
Погас печальной жизни пламень,
И жаждет сени гробовой.

Уж меркнет солнце за горами;
Вдали раздался шумный гул;
С полей народ идет в аул,
Сверкая светлыми косами.
Пришли; в домах зажглись огни,
И постепенно шум нестройный
Умолкнул; все в ночной тени
Объято негою спокойной;
Вдали сверкает горный ключ,
Сбегая с каменной стремнины;
Оделись пеленою туч

Кавказа спящие вершины…
Но кто, в сиянии луны,
Среди глубокой тишины
Идет, украдкою ступая?
Очнулся русский. Перед ним,
С приветом нежным и немым,
Стоит черкешенка младая.
На деву молча смотрит он
И мыслит: это лживый сон,
Усталых чувств игра пустая.
Луною чуть озарена,
С улыбкой жалости отрадной
Колена преклонив, она
К его устам кумыс[6] прохладный
Подносит тихою рукой.
Но он забыл сосуд целебный;
Он ловит жадною душой
Приятной речи звук волшебный
И взоры девы молодой.
Он чуждых слов не понимает;
Но взор умильный, жар ланит,
Но голос нежный говорит:

Живи! и пленник оживает.
И он, собрав остаток сил,
Веленью милому покорный,
Привстал – и чашей благотворной
Томленье жажды утолил.
Потом на камень вновь склонился
Отягощенною главой,
Но все к черкешенке младой
Угасший взор его стремился.
И долго, долго перед ним
Она, задумчива, сидела;
Как бы участием немым
Утешить пленника хотела;
Уста невольно каждый час
С начатой речью открывались;
Она вздыхала, и не раз
Слезами очи наполнялись.

За днями дни прошли как тень.
В горах, окованный, у стада
Проводит пленник каждый день.
Пещеры влажная прохлада
Его скрывает в летний зной;

Когда же рог луны сребристой
Блеснет за мрачною горой,
Черкешенка, тропой тенистой,
Приносит пленнику вино,
Кумыс, и ульев сот душистый,
И белоснежное пшено;
С ним тайный ужин разделяет;
На нем покоит нежный взор;
С неясной речию сливает
Очей и знаков разговор;
Поет ему и песни гор,
И песни Грузии счастливой [7]
И памяти нетерпеливой
Передает язык чужой.
Впервые девственной душой
Она любила, знала счастье,
Но русский жизни молодой
Давно утратил сладострастье,
Не мог он сердцем отвечать
Любви младенческой, открытой –
Быть может, сон любви забытой
Боялся он воспоминать.

Не вдруг увянет наша младость,
Не вдруг восторги бросят нас,
И неожиданную радость
Еще обнимем мы не раз:
Но вы, живые впечатленья,
Первоначальная любовь,
Небесный пламень упоенья,
Не прилетаете вы вновь.

Казалось, пленник безнадежный
К унылой жизни привыкал.
Тоску неволи, жар мятежный
В душе глубоко он скрывал.
Влачася меж угрюмых скал,
В час ранней, утренней прохлады,
Вперял он любопытный взор
На отдаленные громады
Седых, румяных, синих гор.
Великолепные картины!
Престолы вечные снегов,
Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков,
И в их кругу колосс двуглавый,

В венце блистая ледяном,
Эльбрус огромный, величавый,
Белел на небе голубом[8].
Когда, с глухим сливаясь гулом,
Предтеча бури, гром гремел,
Как часто пленник над аулом
Недвижим на горе сидел!
У ног его дымились тучи,
В степи взвивался прах летучий;
Уже приюта между скал
Елень испуганный искал;
Орлы с утесов подымались
И в небесах перекликались;
Шум табунов, мычанье стад
Уж гласом бури заглушались…
И вдруг на долы дождь и град
Из туч сквозь молний извергались;
Волнами роя крутизны,
Сдвигая камни вековые,
Текли потоки дождевые –
А пленник, с горной вышины,
Один, за тучей громовою,

Возврата солнечного ждал,
Недосягаемый грозою,
И бури немощному вою
С какой-то радостью внимал.

Но европейца все вниманье
Народ сей чудный привлекал.
Меж горцев пленник наблюдал
Их веру, нравы, воспитанье,
Любил их жизни простоту,
Гостеприимство, жажду брани,
Движений вольных быстроту,
И легкость ног, и силу длани;
Смотрел по целым он часам,
Как иногда черкес проворный,
Широкой степью, по горам,
В косматой шапке, в бурке черной,
К луке склонясь, на стремена
Ногою стройной опираясь,
Летал по воле скакуна,
К войне заране приучаясь.
Он любовался красотой
Одежды бранной и простой.

Черкес оружием обвешан;
Он им гордится, им утешен;
На нем броня, пищаль, колчан,
Кубанский лук, кинжал, аркан
И шашка, вечная подруга
Его трудов, его досуга.
Ничто его не тяготит,
Ничто не брякнет; пеший, конный –
Все тот же он; все тот же вид
Непобедимый, непреклонный.
Гроза беспечных казаков,
Его богатство – конь ретивый,
Питомец горских табунов,
Товарищ верный, терпеливый.
В пещере иль в траве глухой
Коварный хищник с ним таится
И вдруг, внезапною стрелой,
Завидя путника, стремится;
В одно мгновенье верный бой
Решит удар его могучий,
И странника в ущелья гор
Уже влечет аркан летучий.

Стремится конь во весь опор,
Исполнен огненной отваги;
Все путь ему: болото, бор,
Кусты, утесы и овраги;
Кровавый след за ним бежит,
В пустыне топот раздается;
Седой поток пред ним шумит –
Он в глубь кипящую несется;
И путник, брошенный ко дну,
Глотает мутную волну,
Изнемогая, смерти просит
И зрит ее перед собой…
Но мощный конь его стрелой
На берег пенистый выносит.

Иль, ухватив рогатый пень,
В реку низверженный грозою,
Когда на холмах пеленою
Лежит безлунной ночи тень,
Черкес на корни вековые,
На ветви вешает кругом
Свои доспехи боевые,
Щит, бурку, панцирь и шелом,

Колчан и лук – и в быстры волны
За ним бросается потом,
Неутомимый и безмолвный.
Глухая ночь. Река ревет;
Могучий ток его несет
Вдоль берегов уединенных,
Где на курганах возвышенных,
Склонясь на копья, казаки
Глядят на темный бег реки –
И мимо их, во мгле чернея,
Плывет оружие злодея…
О чем ты думаешь, казак?
Воспоминаешь прежни битвы,
На смертном поле свой бивак,
Полков хвалебные молитвы
И родину?.. Коварный сон!
Простите, вольные станицы,
И дом отцов, и тихий Дон,
Война и красные девицы!
К брегам причалил тайный враг,
Стрела выходит из колчана –
Взвилась – и падает казак

С окровавленного кургана.

Когда же с мирною семьей
Черкес в отеческом жилище
Сидит ненастною порой,
И тлеют угли в пепелище;
И, спрянув с верного коня,
В горах пустынных запоздалый,
К нему войдет пришлец усталый
И робко сядет у огня, —
Тогда хозяин благосклонный
С приветом, ласково, встает
И гостю в чаше благовонной
Чихирь [9] отрадный подает.
Под влажной буркой, в сакле дымной,
Вкушает путник мирный сон,
И утром оставляет он
Ночлега кров гостеприимный [10].

Бывало, в светлый Баиран [11]
Сберутся юноши толпою;
Игра сменяется игрою.
То, полный разобрав колчан,

Они крылатыми стрелами
Пронзают в облаках орлов;
То с высоты крутых холмов
Нетерпеливыми рядами,
При данном знаке, вдруг падут,
Как лани, землю поражают,
Равнину пылью покрывают
И с дружным топотом бегут.

Но скучен мир однообразный
Сердцам, рожденным для войны,
И часто игры воли праздной
Игрой жестокой смущены.
Нередко шашки грозно блещут
В безумной резвости пиров,
И в прах летят главы рабов,
И в радости младенцы плещут.

Но русский равнодушно зрел
Сии кровавые забавы.
Любил он прежде игры славы
И жаждой гибели горел.
Невольник чести беспощадной,

Вблизи видал он свой конец,
На поединках твердый, хладный,
Встречая гибельный свинец.
Быть может, в думу погруженный,
Он время то воспоминал,
Когда, друзьями окруженный,
Он с ними шумно пировал…
Жалел ли он о днях минувших,
О днях, надежду обманувших,
Иль, любопытный, созерцал
Суровой простоты забавы
И дикого народа нравы
В сем верном зеркале читал –
Таил в молчанье он глубоком
Движенья сердца своего,
И на челе его высоком
Не изменялось ничего.
Беспечной смелости его
Черкесы грозные дивились,
Щадили век его младой
И шепотом между собой
Своей добычею гордились.

Часть II

Ты их узнала, дева гор,
Восторги сердца, жизни сладость;
Твой огненный, невинный взор
Высказывал любовь и радость.
Когда твой друг во тьме ночной
Тебя лобзал немым лобзаньем,
Сгорая негой и желаньем,
Ты забывала мир земной,
Ты говорила: «Пленник милый,
Развесели свой взор унылый,
Склонись главой ко мне на грудь,
Свободу, родину забудь.
Скрываться рада я в пустыне
С тобою, царь души моей!
Люби меня; никто доныне
Не целовал моих очей;
К моей постеле одинокой
Черкес младой и черноокой
Не крался в тишине ночной;

Слыву я девою жестокой,
Неумолимой красотой.
Я знаю жребий мне готовый:
Меня отец и брат суровый
Немилому продать хотят
В чужой аул ценою злата;
Но умолю отца и брата,
Не то – найду кинжал иль яд.
Непостижимой, чудной силой
К тебе я вся привлечена;
Люблю тебя, невольник милый,
Душа тобой упоена...»

Но он с безмолвным сожаленьем
На деву страстную взирал
И, полный тяжким размышленьем,
Словам любви ее внимал.
Он забывался. В нем теснились
Воспоминанья прошлых дней,
И даже слезы из очей
Однажды градом покатились.
Лежала в сердце, как свинец,
Тоска любви без упованья.

Пред юной девой наконец
Он излиял свои страданья:

«Забудь меня: твоей любви,
Твоих восторгов я не стою.
Бесценных дней не трать со мною;
Другого юношу зови.
Его любовь тебе заменит
Моей души печальный хлад;
Он будет верен, он оценит
Твою красу, твой милый взгляд,
И жар младенческих лобзаний,
И нежность пламенных речей;
Без упоенья, без желаний
Я вяну жертвою страстей.
Ты видишь след любви несчастной,
Душевной бури след ужасный;
Оставь меня; но пожалей
О скорбной участи моей!
Несчастный друг, зачем не прежде
Явилась ты моим очам,
В те дни, как верил я надежде
И упоительным мечтам!

Но поздно: умер я для счастья,
Надежды призрак улетел;
Твой друг отвык от сладострастья,
Для нежных чувств окаменел…

Как тяжко мертвыми устами
Живым лобзаньям отвечать
И очи, полные слезами,
Улыбкой хладною встречать!
Измучась ревностью напрасной,
Уснув бесчувственной душой,
В объятиях подруги страстной
Как тяжко мыслить о другой!..

Когда так медленно, так нежно
Ты пьешь лобзания мои,
И для тебя часы любви
Проходят быстро, безмятежно;
Снедая слезы в тишине,
Тогда рассеянный, унылый
Перед собою, как во сне,
Я вижу образ вечно милый;
Его зову, к нему стремлюсь,

Молчу, не вижу, не внимаю;
Тебе в забвенье предаюсь
И тайный призрак обнимаю.
Об нем в пустыне слезы лью;
Повсюду он со мною бродит
И мрачную тоску наводит
На душу сирую мою.

Оставь же мне мои железы,
Уединенные мечты,
Воспоминанья, грусть и слезы:
Их разделить не можешь ты.
Ты сердца слышала признанье;
Прости… дай руку – на прощанье.
Недолго женскую любовь
Печалит хладная разлука:
Пройдет любовь, настанет скука,
Красавица полюбит вновь».

Раскрыв уста, без слез рыдая,
Сидела дева молодая;
Туманный, неподвижный взор
Безмолвный выражал укор;

Бледна как тень, она дрожала:
В руках любовника лежала
Ее холодная рука;
И наконец любви тоска
В печальной речи излилася:

«Ах, русский, русский, для чего,
Не зная сердца твоего,
Тебе навек я предалася!
Не долго на груди твоей
В забвенье дева отдыхала;
Не много радостных ночей
Судьба на долю ей послала!
Придут ли вновь когда-нибудь?
Ужель навек погибла радость?..
Ты мог бы, пленник, обмануть
Мою неопытную младость,
Хотя б из жалости одной,
Молчаньем, ласкою притворной;
Я услаждала б жребий твой
Заботой нежной и покорной;
Я стерегла б минуты сна,
Покой тоскующего друга;

Ты не хотел… Но кто ж она,
Твоя прекрасная подруга?
Ты любишь, русский? ты любим?..
Понятны мне твои страданья…
Прости ж и ты мои рыданья,
Не смейся горестям моим».

Умолкла. Слезы и стенанья
Стеснили бедной девы грудь.
Уста без слов роптали пени.
Без чувств, обняв его колени,
Она едва могла дохнуть.
И пленник, тихою рукою
Подняв несчастную, сказал:
«Не плачь: и я гоним судьбою,
И муки сердца испытал.
Нет, я не знал любви взаимной,
Любил один, страдал один;
И гасну я, как пламень дымный,
Забытый средь пустых долин;
Умру вдали брегов желанных;
Мне будет гробом эта степь;
Здесь на костях моих изгнанных

Заржавит тягостная цепь...»

Светила ночи затмевались;
В дали прозрачной означались
Громады светлоснежных гор;
Главу склонив, потупя взор,
Они в безмолвии расстались.

Унылый пленник с этих пор
Один окрест аула бродит.
Заря на знойный небосклон
За днями новы дни возводит;
За ночью ночь вослед уходит;
Вотще свободы жаждет он.
Мелькнет ли серна меж кустами,
Проскачет ли во мгле сайгак, —
Он, вспыхнув, загремит цепями,
Он ждет, не крадется ль казак,
Ночной аулов разоритель,
Рабов отважный избавитель.
Зовет... но все кругом молчит;
Лишь волны плещутся бушуя,
И человека зверь почуя

В пустыню темную бежит.

Однажды слышит русский пленный,
В горах раздался клик военный:
«В табун, в табун!» Бегут, шумят;
Уздечки медные гремят,
Чернеют бурки, блещут брони,
Кипят оседланные кони,
К набегу весь аул готов,
И дикие питомцы брани
Рекою хлынули с холмов
И скачут по брегам Кубани
Сбирать насильственные дани.

Утих аул; на солнце спят
У саклей псы сторожевые.
Младенцы смуглые, нагие
В свободной резвости шумят;
Их прадеды в кругу сидят,
Из трубок дым, виясь, синеет.
Они безмолвно юных дев
Знакомый слушают припев,
И старцев сердце молодеет.

ЧЕРКЕССКАЯ ПЕСНЯ

1

В реке бежит гремучий вал;
В горах безмолвие ночное;
Казак усталый задремал,
Склонясь на копие стальное.
Не спи, казак: во тьме ночной
Чеченец ходит за рекой.

2

Казак плывет на челноке,
Влача по дну речному сети.
Казак, утонешь ты в реке,
Как тонут маленькие дети,
Купаясь жаркою порой:
Чеченец ходит за рекой.

3

На берегу заветных вод
Цветут богатые станицы;

Веселый пляшет хоровод.
Бегите, русские певицы,
Спешите, красные, домой:
Чеченец ходит за рекой.

Так пели девы. Сев на бреге,
Мечтает русский о побеге;
Но цепь невольника тяжка,
Быстра глубокая река…
Меж тем, померкнув, степь уснула
Вершины скал омрачены.
По белым хижинам аула
Мелькает бледный свет луны;
Елени дремлют над водами,
Умолкнул поздний крик орлов,
И глухо вторится горами
Далекий топот табунов.

Тогда кого-то слышно стало,
Мелькнуло девы покрывало,
И вот – печальна и бледна
К нему приближилась она.
Уста прекрасной ищут речи;

Глаза исполнены тоской,
И черной падают волной
Ее власы на грудь и плечи.
В одной руке блестит пила,
В другой кинжал ее булатный;
Казалось, будто дева шла
На тайный бой, на подвиг ратный.

На пленника возведши взор,
«Беги, – сказала дева гор. —
Нигде черкес тебя не встретит.
Спеши; не трать ночных часов;
Возьми кинжал: твоих следов
Никто во мраке не заметит».

Пилу дрожащей взяв рукой,
К его ногам она склонилась:
Визжит железо под пилой,
Слеза невольная скатилась –
И цепь распалась и гремит.
«Ты волен, – дева говорит, —
Беги!» Но взгляд ее безумный
Любви порыв изобразил.

Она страдала. Ветер шумный,
Свистя, покров ее клубил.
«О друг мой! – русский возопил, —
Я твой навек, я твой до гроба.
Ужасный край оставим оба,
Беги со мной…» – «Нет, русский, нет!
Она исчезла, жизни сладость;
Я знала все, я знала радость,
И все прошло, пропал и след.
Возможно ль? ты любил другую!..
Найди ее, люби ее;
О чем же я еще тоскую?
О чем уныние мое?..
Прости! любви благословенья
С тобою будут каждый час.
Прости – забудь мои мученья,
Дай руку мне… в последний раз».

К черкешенке простер он руки,
Воскресшим сердцем к ней летел,
И долгий поцелуй разлуки
Союз любви запечатлел.
Рука с рукой, унынья полны,

Сошли ко брегу в тишине –
И русский в шумной глубине
Уже плывет и пенит волны,
Уже противных скал достиг,
Уже хватается за них…
Вдруг волны глухо зашумели,
И слышен отдаленный стон…
На дикий брег выходит он,
Глядит назад… брега яснели
И, опененные, белели;
Но нет черкешенки младой
Ни у брегов, ни под горой…
Все мертво… на брегах уснувших
Лишь ветра слышен легкий звук,
И при луне в водах плеснувших
Струистый исчезает круг.

Все понял он. Прощальным взором
Объемлет он в последний раз
Пустой аул с его забором,
Поля, где пленный стадо пас,
Стремнины, где влачил оковы,
Ручей, где в полдень отдыхал,

Когда в горах черкес суровый
Свободы песню запевал.

Редел на небе мрак глубокий,
Ложился день на темный дол,
Взошла заря. Тропой далекой
Освобожденный пленник шел;
И перед ним уже в туманах
Сверкали русские штыки,
И окликались на курганах
Сторожевые казаки.

Эпилог

Так муза, легкий друг мечты,
К пределам Азии летала
И для венка себе срывала
Кавказа дикие цветы.
Ее пленял наряд суровый
Племен, возросших на войне,
И часто в сей одежде новой
Волшебница являлась мне;
Вокруг аулов опустелых

Одна бродила по скалам,
И к песням дев осиротелых
Она прислушивалась там;
Любила бранные станицы,
Тревоги смелых казаков,
Курганы, тихие гробницы,
И шум, и ржанье табунов.
Богиня песен и рассказа,
Воспоминания полна,
Быть может, повторит она
Преданья грозного Кавказа;
Расскажет повесть дальных стран,
Мстислава[12] древний поединок,
Измены, гибель россиян
На лоне мстительных грузинок;
И воспою тот славный час,
Когда, почуя бой кровавый,
На негодующий Кавказ
Подъялся наш орел двуглавый;
Когда на Тереке седом
Впервые грянул битвы гром
И грохот русских барабанов,

И в сече, с дерзостным челом,
Явился пылкий Цицианов;
Тебя я воспою, герой,
О Котляревский, бич Кавказа!
Куда ни мчался ты грозой –
Твой ход, как черная зараза,
Губил, ничтожил племена…
Ты днесь покинул саблю мести,
Тебя не радует война;
Скучая миром, в язвах чести,
Вкушаешь праздный ты покой
И тишину домашних долов…
Но се – Восток подъемлет вой!..
Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ: идет Ермолов!

И смолкнул ярый крик войны:
Все русскому мечу подвластно.
Кавказа гордые сыны,
Сражались, гибли вы ужасно;
Но не спасла вас наша кровь,
Ни очарованные брони,
Ни горы, ни лихие кони,

Ни дикой вольности любовь!
Подобно племени Батыя,
Изменит прадедам Кавказ,
Забудет алчной брани глас,
Оставит стрелы боевые.
К ущельям, где гнездились вы,
Подъедет путник без боязни,
И возвестят о вашей казни
Преданья темные молвы.

Примечания

[1] *Бешту*, или, правильнее, *Бештау*, кавказская гора в 40 верстах от Георгиевска. Известна в нашей истории.

[2] *Аул*. Так называются деревни кавказских народов.

[3] *Уздень*, начальник или князь.

[4] *Шашка*, черкесская сабля.

[5] *Сакля*, хижина.

[6] *Кумыс*, делается из кобыльего молока; напиток сей в большом употреблении между всеми горскими и кочующими народами Азии. Он довольно приятен вкусу и почитается весьма здоровым.

[7] Счастливый климат Грузии не вознаграждает сию прекрасную страну за все бедствия, вечно ею претерпеваемые. Песни грузинские приятны и по большей части заунывны. Они славят минутные успехи кавказского оружия, смерть наших героев: Бакунина и Цицианова, измены, убийства — иногда любовь и наслаждения.

[8] Державин в превосходной своей оде графу Зубову первый изобразил в следующих строфах дикие картины Кавказа:

О юный вождь, сверша походы,
Зрел ужасы, красы природы:
Как с ребр там страшных гор лиясь,
Ревут в мрак бездн сердиты реки;
Как с чел их с грохотом снега
Падут, лежавши целы веки;
Рожденье молний и громов.

Ты зрел, как ясною порою
Средь вод, играя, отражаясь,
Как, в разноцветных рассеваясь
Там брызгах, тонкий дождь горит;
Как глыба там сизо-янтарна,
Навесясь, смотрит в темный бор;

А там заря златобагряна
Сквозь лес увеселяет взор.

Жуковский, в своем послании к г-ну Воейкову, также посвящает несколько прелестных стихов описанию Кавказа:

Ты зрел, как Терек в быстром беге
Меж виноградников шумел,
Где, часто притаясь на бреге,
Чеченец иль черкес сидел
Под буркой, с гибельным арканом;
И вдалеке перед тобой,
Одеты голубым туманом,
Гора вздымалась над горой,
И в сонме их гигант седой,
Как туча, Эльборус двуглавый,
Ужасною и величавой
Там все блистает красотой:
Утесов мшистые громады,
Бегущи с ревом водопады
Во мрак пучин с гранитных скал;
Леса, которых сна от века
Ни стук секир, ни человека

Веселый глас не возмущал,
В которых сумрачные сени
Еще луч дневный не проник,
Где изредка одни елени,
Орла послышав грозный крик,
Теснясь в толпу, шумят ветвями,
И козы легкими ногами
Перебегают по скалам.
Там все является очам
Великолепие творенья!
Но там – среди уединенья
Долин, таящихся в горах, —
Гнездятся и балкар, и бах,
И азабех, и камуцинец,
И карбулак, и албазинец,
И чечереец, и шапсук;
Пищаль, кольчуга, сабля, лук
И конь – соратник быстроногий –
Их и сокровища и боги;
Как серны скачут по горам,
Бросают смерть из-за утеса;
Или по топким берегам,

В траве высокой, в чаще леса
Рассыпавшись, добычи ждут;
Скалы свободы их приют.
Но дни в аулах их бредут
На костылях угрюмой лени:
Там жизнь их – сон; стеснясь в кружок
И в братский с табаком горшок
Вонзивши чубуки, как тени
В дыму клубящемся сидят
И об убийствах говорят,
Иль хвалят меткие пищали,
Из коих деды их стреляли;
Иль сабли на кремнях острят,
Готовясь на убийства новы…

[9] *Чихирь, красное грузинское вино.*

[10] Черкесы, как и все дикие народы, отличаются перед нами гостеприимством. Гость становится для них священною особою. Предать его или не защитить почитается меж ними за величайшее бесчестие. *Кунак* (т. е. приятель, знакомец) отвечает жизнию за вашу безопасность, и с ним вы можете углубиться в самую средину кабардинских гор.

[11] *Байран*, или *байрам*, праздник разговенья. *Рамазан*, мусульманский пост.

[12] Мстислав, сын св. Владимира, прозванный *Удалым*, удельный князь Тмутаракана (остров Тамань). Он воевал с косогами (по всей вероятности, нынешними черкесами) и в единоборстве одолел князя их Редедю. См. *«Ист. Гос. Росс.». Том II.*

1820–1821

Бахчисарайский фонтан

Многие, так же как и я, посещали сей фонтан; но иных уже нет, другие странствуют далече.

Сади

Гирей сидел потупя взор;
Янтарь в устах его дымился;
Безмолвно раболепный двор
Вкруг хана грозного теснился.
Всё было тихо во дворце;
Благоговея, все читали
Приметы гнева и печали
На сумрачном его лице.
Но повелитель горделивый
Махнул рукой нетерпеливой:

И все, склонившись, идут вон.

Один в своих чертогах он;
Свободней грудь его вздыхает,
Живее строгое чело
Волненье сердца выражает.
Так бурны тучи отражает
Залива зыбкое стекло.

Что движет гордою душою?
Какою мыслью занят он?
На Русь ли вновь идет войною,
Несет ли Польше свой закон,
Горит ли местию кровавой,
Открыл ли в войске заговор,
Страшится ли народов гор
Иль козней Генуи лукавой?

Нет, он скучает бранной славой;
Устала грозная рука;
Война от мыслей далека.

Ужель в его гарем измена
Стезей преступною вошла,
И дочь неволи, нег и плена
Гяуру сердце отдала?

Нет, жены робкие Гирея,
Ни думать, ни желать не смея,
Цветут в унылой тишине;
Под стражей бдительной и хладной
На лоне скуки безотрадной
Измен не ведают оне.

В тени хранительной темницы
Утаены их красоты:
Так аравийские цветы
Живут за стеклами теплицы.
Для них унылой чередой
Дни, месяцы, лета проходят
И неприметно за собой
И младость и любовь уводят.
Однообразен каждый день,
И медленно часов теченье.
В гареме жизнью правит лень;
Мелькает редко наслажденье.
Младые жены, как-нибудь
Желая сердце обмануть,
Меняют пышные уборы,
Заводят игры, разговоры
Или при шуме вод живых,
Над их прозрачными струями,
В прохладе яворов густых
Гуляют легкими роями.
Меж ними ходит злой эвнух,
И убегать его напрасно:

Его ревнивый взор и слух
За всеми следует всечасно.
Его стараньем заведен
Порядок вечный. Воля хана
Ему единственный закон;
Святую заповедь Корана
Не строже наблюдает он.
Его душа любви не просит;
Как истукан, он переносит
Насмешки, ненависть, укор,
Обиды шалости нескромной,
Презренье, просьбы, робкий взор,
И тихий вздох, и ропот томный.
Ему известен женский нрав;
Он испытал, сколь он лукав
И на свободе и в неволе:
Взор нежный, слез упрек немой
Не властны над его душой;
Он им уже не верит боле.

Раскинув легкие власы,
Как идут пленницы младые
Купаться в жаркие часы,

И льются волны ключевые
На их волшебные красы,
Забав их сторож неотлучный,
Он тут; он видит, равнодушный,
Прелестниц обнаженный рой;
Он по гарему в тьме ночной
Неслышными шагами бродит:
Ступая тихо по коврам,
К послушным крадется дверям,
От ложа к ложу переходит;
В заботе вечной, ханских жен
Роскошный наблюдает сон,
Ночной подслушивает лепет;
Дыханье, вздох, малейший трепет, —
Всё жадно примечает он:
И горе той, чей шепот сонный
Чужое имя призывал
Или подруге благосклонной
Порочны мысли доверял!

Что ж полон грусти ум Гирея?
Чубук в руках его потух;
Недвижим и дохнуть не смея,

У двери знака ждет эвнух.
Встает задумчивый властитель;
Пред ним дверь настежь. Молча он
Идет в заветную обитель
Еще недавно милых жен.

Беспечно ожидая хана,
Вокруг игривого фонтана
На шелковых коврах оне
Толпою резвою сидели
И с детской радостью глядели,
Как рыба в ясной глубине
На мраморном ходила дне.
Нарочно к ней на дно иные
Роняли серьги золотые.
Кругом невольницы меж тем
Шербет носили ароматный
И песнью звонкой и приятной
Вдруг огласили весь гарем:

ТАТАРСКАЯ ПЕСНЯ

1

«Дарует небо человеку
Замену слез и частых бед:
Блажен факир, узревший Мекку
На старости печальных лет.

2

Блажен, кто славный брег Дуная
Своею смертью освятит:
К нему навстречу дева рая
С улыбкой страстной полетит.

3

Но тот блаженней, о Зарема,
Кто, мир и негу возлюбя,
Как розу, в тишине гарема
Лелеет, милая, тебя».

Они поют. Но где Зарема,
Звезда любви, краса гарема? –
Увы, печальна и бледна,
Похвал не слушает она;

Как пальма, смятая грозою,
Поникла юной головою;
Ничто, ничто не мило ей:
Зарему разлюбил Гирей.

Он изменил!.. Но кто с тобою,
Грузинка, равен красотою?
Вокруг лилейного чела
Ты косу дважды обвила;
Твои пленительные очи
Яснее дня, чернее ночи.
Чей голос выразит сильней
Порывы пламенных желаний?
Чей страстный поцелуй живей
Твоих язвительных лобзаний?
Как сердце, полное тобой,
Забьется для красы чужой?
Но, равнодушный и жестокий,
Гирей презрел твои красы
И ночи хладные часы
Проводит мрачный, одинокий
С тех пор, как польская княжна
В его гарем заключена.

Недавно юная Мария
Узрела небеса чужие;
Недавно милою красой
Она цвела в стране родной,
Седой отец гордился ею
И звал отрадою своею.
Для старика была закон
Ее младенческая воля.
Одну заботу ведал он,
Чтоб дочери любимой доля
Была, как вешний день, ясна,
Чтоб и минутные печали
Ее души не помрачали,
Чтоб даже замужем она
Воспоминала с умиленьем
Девичье время, дни забав,
Мелькнувших легким сновиденьем.
Всё в ней пленяло: тихий нрав,
Движенья стройные, живые
И очи томно-голубые.
Природы милые дары
Она искусством украшала;

Она домашние пиры
Волшебной арфой оживляла;
Толпы вельмож и богачей
Руки Мариной искали,
И много юношей по ней
В страданье тайном изнывали.
Но в тишине души своей
Она любви еще не знала
И независимый досуг
В отцовском замке меж подруг
Одним забавам посвящала.

Давно ль? И что же! Тьмы татар
На Польшу хлынули рекою:
Не с столь ужасной быстротою
По жатве стелется пожар.
Обезображенный войною,
Цветущий край осиротел;
Исчезли мирные забавы;
Уныли села и дубравы,
И пышный замок опустел.
Тиха Мариина светлица…
В домовой церкви, где кругом

Почиют мощи хладным сном,
С короной, с княжеским гербом
Воздвиглась новая гробница...
Отец в могиле, дочь в плену.
Скупой наследник в замке правит
И тягостным ярмом бесславит
Опустошенную страну.

Увы! Дворец Бахчисарая
Скрывает юную княжну.
В неволе тихой увядая,
Мария плачет и грустит.
Гирей несчастную щадит:

Ее унынье, слезы, стоны
Тревожат хана краткий сон,
И для нее смягчает он
Гарема строгие законы.
Угрюмый сторож ханских жен
Ни днем, ни ночью к ней не входит;
Рукой заботливой не он
На ложе сна ее возводит;
Не смеет устремиться к ней

Обидный взор его очей;
Она в купальне потаенной
Одна с невольницей своей;
Сам хан боится девы пленной
Печальный возмущать покой;
Гарема в дальнем отделенье
Позволено ей жить одной:
И, мнится, в том уединенье
Сокрылся некто неземной.
Там день и ночь горит лампада
Пред ликом Девы Пресвятой;
Души тоскующей отрада,
Там упованье в тишине
С смиренной верой обитает,
И сердцу всё напоминает
О близкой, лучшей стороне…
Там дева слезы проливает
Вдали завистливых подруг;
И между тем, как всё вокруг
В безумной неге утопает,
Святыню строгую скрывает
Спасенный чудом уголок.

Так сердце, жертва заблуждений,
Среди порочных упоений
Хранит один святой залог,
Одно божественное чувство…
……
……

Настала ночь; покрылись тенью
Тавриды сладостной поля;
Вдали, под тихой лавров сенью
Я слышу пенье соловья;
За хором звезд луна восходит;
Она с безоблачных небес
На долы, на холмы, на лес
Сиянье томное наводит.
Покрыты белой пеленой,
Как тени легкие мелькая,
По улицам Бахчисарая,
Из дома в дом, одна к другой,
Простых татар спешат супруги
Делить вечерние досуги.
Дворец утих; уснул гарем,
Объятый негой безмятежной;

Не прерывается ничем
Спокойство ночи. Страж надежный,
Дозором обошел эвнух.
Теперь он спит; но страх прилежный
Тревожит в нем и спящий дух.
Измен всечасных ожиданье
Покоя не дает уму.
То чей-то шорох, то шептанье,
То крики чудятся ему;
Обманутый неверным слухом,
Он пробуждается, дрожит,
Напуганным приникнув ухом…
Но всё кругом его молчит;
Одни фонтаны сладкозвучны
Из мраморной темницы бьют,
И, с милой розой неразлучны,
Во мраке соловьи поют;
Эвнух еще им долго внемлет,
И снова сон его объемлет.

Как милы темные красы
Ночей роскошного Востока!
Как сладко льются их часы

Для обожателей Пророка!
Какая нега в их домах,
В очаровательных садах,
В тиши гаремов безопасных,
Где под влиянием луны
Всё полно тайн и тишины
И вдохновений сладострастных!
.....
Все жены спят. Не спит одна.
Едва дыша, встает она;
Идет; рукою торопливой
Открыла дверь; во тьме ночной
Ступает легкою ногой...
В дремоте чуткой и пугливой
Пред ней лежит эвнух седой.
Ах, сердце в нем неумолимо:
Обманчив сна его покой!..
Как дух, она проходит мимо.
.....
Пред нею дверь; с недоуменьем
Ее дрожащая рука

Коснулась верного замка…
Вошла, взирает с изумленьем…
И тайный страх в нее проник.
Лампады свет уединенный,
Кивот, печально озаренный,
Пречистой Девы кроткий лик
И крест, любви символ священный,
Грузинка, всё в душе твоей
Родное что-то пробудило,
Всё звуками забытых дней
Невнятно вдруг заговорило.
Пред ней покоилась княжна,
И жаром девственного сна
Ее ланиты оживлялись
И, слез являя свежий след,
Улыбкой томной озарялись:
Так озаряет лунный свет
Дождем отягощенный цвет;
Спорхнувший с неба сын эдема,
Казалось, ангел почивал
И сонный слезы проливал
О бедной пленнице гарема…

Увы, Зарема, что с тобой?
Стеснилась грудь ее тоской,
Невольно клонятся колени,
И молит: «Сжалься надо мной,
Не отвергай моих молений!..»
Ее слова, движенье, стон
Прервали девы тихий сон.
Княжна со страхом пред собою
Младую незнакомку зрит;
В смятенье, трепетной рукою
Ее подъемля, говорит:
«Кто ты?.. Одна, порой ночною,
Зачем ты здесь?» – «Я шла к тебе,
Спаси меня; в моей судьбе
Одна надежда мне осталась...
Я долго счастьем наслаждалась,
Была беспечней день от дня...
И тень блаженства миновалась;
Я гибну. Выслушай меня.

Родилась я не здесь, далеко,
Далеко... но минувших дней
Предметы в памяти моей

Доныне врезаны глубоко.
Я помню горы в небесах,
Потоки жаркие в горах,
Непроходимые дубравы,
Другой закон, другие нравы;
Но почему, какой судьбой
Я край оставила родной,
Не знаю; помню только море
И человека в вышине
Над парусами…
Страх и горе
Доныне чужды были мне;
Я в безмятежной тишине
В тени гарема расцветала
И первых опытов любви
Послушным сердцем ожидала.
Желанья тайные мои
Сбылись. Гирей для мирной неги
Войну кровавую презрел,
Пресек ужасные набеги
И свой гарем опять узрел.
Пред хана в смутном ожиданье

Предстали мы. Он светлый взор
Остановил на мне в молчанье,
Позвал меня… и с этих пор
Мы в беспрерывном упоенье
Дышали счастьем; и ни раз
Ни клевета, ни подозренье,
Ни злобной ревности мученье,
Ни скука не смущала нас.
Мария, ты пред ним явилась…
Увы, с тех пор его душа
Преступной думой омрачилась!
Гирей, изменою дыша,
Моих не слушает укоров;
Ему докучен сердца стон;
Ни прежних чувств, ни разговоров
Со мною не находит он.
Ты преступленью не причастна;
Я знаю: не твоя вина…
Итак, послушай: я прекрасна;
Во всем гареме ты одна
Могла б еще мне быть опасна;
Но я для страсти рождена,

Но ты любить, как я, не можешь;
Зачем же хладной красотой
Ты сердце слабое тревожишь?
Оставь Гирея мне: он мой;
На мне горят его лобзанья,
Он клятвы страшные мне дал,
Давно все думы, все желанья
Гирей с моими сочетал;
Меня убьет его измена…
Я плачу; видишь, я колена
Теперь склоняю пред тобой,
Молю, винить тебя не смея,
Отдай мне радость и покой,
Отдай мне прежнего Гирея…
Не возражай мне ничего;
Он мой; он ослеплен тобою.
Презреньем, просьбою, тоскою,
Чем хочешь, отврати его;
Клянись… (хоть я для Алкорана,
Между невольницами хана,
Забыла веру прежних дней;
Но вера матери моей

Была твоя) клянись мне ею
Зарему возвратить Гирею…
Но слушай: если я должна
Тебе… кинжалом я владею,
Я близ Кавказа рождена».

Сказав, исчезла вдруг. За нею
Не смеет следовать княжна.
Невинной деве непонятен
Язык мучительных страстей,
Но голос их ей смутно внятен,
Он странен, он ужасен ей.
Какие слезы и моленья
Ее спасут от посрамления?
Что ждет ее? Ужели ей
Остаток горьких юных дней
Провесть наложницей презренной?
О Боже! если бы Гирей
В ее темнице отдаленной
Забыл несчастную навек
Или кончиной ускоренной
Унылы дни ее пресек, —
С какою б радостью Мария

Оставила печальный свет!
Мгновенья жизни дорогие
Давно прошли, давно их нет!
Что делать ей в пустыне мира?
Уж ей пора, Марию ждут
И в небеса, на лоно мира,
Родной улыбкою зовут.

.....

Промчались дни; Марии нет.
Мгновенно сирота почила.
Она давно желанный свет,
Как новый ангел, озарила.
Но что же в гроб ее свело?
Тоска ль неволи безнадежной,
Болезнь или другое зло?..
Кто знает? Нет Марии нежной!..
Дворец угрюмый опустел;
Его Гирей опять оставил;
С толпой татар в чужой предел
Он злой набег опять направил;
Он снова в бурях боевых
Несется мрачный, кровожадный:

Но в сердце хана чувств иных
Таится пламень безотрадный.
Он часто в сечах роковых
Подъемлет саблю и с размаха
Недвижим остается вдруг,
Глядит с безумием вокруг,
Бледнеет, будто полный страха,
И что-то шепчет, и порой
Горючи слезы льет рекой.

Забытый, преданный презренью,
Гарем не зрит его лица;
Там, обреченные мученью,
Под стражей хладного скопца
Стареют жены. Между ними
Давно грузинки нет; она
Гарема стражами немыми
В пучину вод опущена.
В ту ночь, как умерла княжна,
Свершилось и ее страданье.
Какая б ни была вина,
Ужасно было наказанье!

Опустошив огнем войны
Кавказу близкие страны
И села мирные России,
В Тавриду возвратился хан
И в память горестной Марии
Воздвигнул мраморный фонтан,
В углу дворца уединенный.
Над ним крестом осенена
Магометанская луна
(Символ, конечно, дерзновенный,
Незнанья жалкая вина).
Есть надпись: едкими годами
Еще не сгладилась она.
За чуждыми ее чертами
Журчит во мраморе вода
И каплет хладными слезами,
Не умолкая никогда.
Так плачет мать во дни печали
О сыне, падшем на войне.
Младые девы в той стране
Преданье старины узнали,
И мрачный памятник оне

Фонтаном слез именовали.

Покинув север наконец,
Пиры надолго забывая,
Я посетил Бахчисарая
В забвенье дремлющий дворец.
Среди безмолвных переходов
Бродил я там, где, бич народов,
Татарин буйный пировал
И после ужасов набега
В роскошной лени утопал.
Еще поныне дышит нега
В пустых покоях и садах;
Играют воды, рдеют розы,
И вьются виноградны лозы,
И злато блещет на стенах.
Я видел ветхие решетки,
За коими, в своей весне,
Янтарны разбирая четки,
Вздыхали жены в тишине.
Я видел ханское кладбище,
Владык последнее жилище.
Сии надгробные столбы,

Венчанны мраморной чалмою,
Казалось мне, завет судьбы
Гласили внятною молвою.
Где скрылись ханы? Где гарем?
Кругом всё тихо, всё уныло,
Всё изменилось… но не тем
В то время сердце полно было:
Дыханье роз, фонтанов шум
Влекли к невольному забвенью,
Невольно предавался ум
Неизъяснимому волненью,
И по дворцу летучей тенью
Мелькала дева предо мной!..
……
Чью тень, о други, видел я?
Скажите мне: чей образ нежный
Тогда преследовал меня,
Неотразимый, неизбежный?
Марии ль чистая душа
Являлась мне, или Зарема
Носилась, ревностью дыша,
Средь опустелого гарема?

Я помню столь же милый взгляд
И красоту еще земную,
Все думы сердца к ней летят,
Об ней в изгнании тоскую…
Безумец! полно! перестань,
Не оживляй тоски напрасной,
Мятежным снам любви несчастной
Заплачена тобою дань –
Опомнись; долго ль, узник томный,
Тебе оковы лобызать
И в свете лирою нескромной
Свое безумство разглашать?

Поклонник муз, поклонник мира,
Забыв и славу и любовь,
О, скоро вас увижу вновь,
Брега веселые Салгира!
Приду на склон приморских гор,
Воспоминаний тайных полный,
И вновь таврические волны
Обрадуют мой жадный взор.
Волшебный край, очей отрада!
Всё живо там: холмы, леса,

Янтарь и яхонт винограда,
Долин приютная краса,
И струй и тополей прохлада;
Всё чувство путника манит,
Когда, в час утра безмятежный,
В горах, дорогою прибрежной,
Привычный конь его бежит,
И зеленеющая влага
Пред ним и блещет и шумит
Вокруг утесов Аю-дага…

1821–1823

Цыганы

Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют.
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют.
Как вольность, весел их ночлег
И мирный сон под небесами.
Между колесами телег,
Полузавешанных коврами,
Горит огонь; семья кругом
Готовит ужин; в чистом поле
Пасутся кони; за шатром
Ручной медведь лежит на воле.
Всё живо посреди степей:
Заботы мирные семей,
Готовых с утром в путь недальний,
И песни жен, и крик детей,
И звон походной наковальни.
Но вот на табор кочевой
Нисходит сонное молчанье,

И слышно в тишине степной
Лишь лай собак да коней ржанье.
Огни везде погашены,
Спокойно всё, луна сияет
Одна с небесной вышины
И тихий табор озаряет.
В шатре одном старик не спит;
Он перед углями сидит,
Согретый их последним жаром,
И в поле дальнее глядит,
Ночным подернутое паром.
Его молоденькая дочь
Пошла гулять в пустынном поле.
Она привыкла к резвой воле,
Она придет: но вот уж ночь,
И скоро месяц уж покинет
Небес далеких облака;
Земфиры нет как нет, и стынет
Убогий ужин старика.

Но вот она. За нею следом
По степи юноша спешит;
Цыгану вовсе он неведом.

«Отец мой, – дева говорит, —
Веду я гостя: за курганом
Его в пустыне я нашла
И в табор на́ ночь зазвала.
Он хочет быть, как мы, цыганом;
Его преследует закон,
Но я ему подругой буду.
Его зовут Алеко; он
Готов идти за мною всюду».

Старик

Я рад. Останься до утра
Под сенью нашего шатра
Или пробудь у нас и доле,
Как ты захочешь. Я готов
С тобой делить и хлеб и кров.
Будь наш, привыкни к нашей доле,
Бродящей бедности и воле;
А завтра с утренней зарей
В одной телеге мы поедем;
Примись за промысел любой:
Железо куй иль песни пой
И села обходи с медведем.

Алеко

Я остаюсь.

Земфира

Он будет мой:
Кто ж от меня его отгонит?
Но поздно… месяц молодой
Зашел; поля покрыты мглой,
И сон меня невольно клонит…

Светло. Старик тихонько бродит
Вокруг безмолвного шатра.
«Вставай, Земфира: солнце всходит,
Проснись, мой гость, пора, пора!
Оставьте, дети, ложе неги».
И с шумом высыпал народ,
Шатры разобраны, телеги
Готовы двинуться в поход;
Всё вместе тронулось: и вот
Толпа валит в пустых равнинах.
Ослы в перекидных корзинах
Детей играющих несут;
Мужья и братья, жены, девы,

И стар и млад вослед идут;
Крик, шум, цыганские припевы,
Медведя рев, его цепей
Нетерпеливое бряцанье,
Лохмотьев ярких пестрота,
Детей и старцев нагота,
Собак и лай и завыванье,
Волынки говор, скрып телег,
Всё скудно, дико, всё нестройно;
Но всё так живонепокойно,
Так чуждо мертвых наших нег,
Так чуждо этой жизни праздной,
Как песнь рабов однообразной.

Уныло юноша глядел
На опустелую равнину
И грусти тайную причину
Истолковать себе не смел.
С ним черноокая Земфира,
Теперь он вольный житель мира,
И солнце весело над ним
Полуденной красою блещет;

Что ж сердце юноши трепещет?
Какой заботой он томим?
Птичка Божия не знает
Ни заботы, ни труда,

Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда,
В долгу ночь на ветке дремлет;
Солнце красное взойдет,
Птичка гласу Бога внемлет,
Встрепенется и поет.
За весной, красой природы,
Лето знойное пройдет —
И туман и непогоды
Осень поздняя несет:
Людям скучно, людям горе;
Птичка в дальные страны,
В теплый край, за сине море
Улетает до весны.

Подобно птичке беззаботной
И он, изгнанник перелетный,
Гнезда надежного не знал

И ни к чему не привыкал.
Ему везде была дорога,
Везде была ночлега сень;
Проснувшись поутру, свой день
Он отдавал на волю Бога,
И жизни не могла тревога
Смутить его сердечну лень.
Его порой волшебной славы
Манила дальная звезда,
Нежданно роскошь и забавы
К нему являлись иногда;
Над одинокой головою
И гром нередко грохотал;
Но он беспечно под грозою
И в вёдро ясное дремал.
И жил, не признавая власти
Судьбы коварной и слепой;
Но, Боже, как играли страсти
Его послушною душой!
С каким волнением кипели
В его измученной груди!
Давно ль, надолго ль усмирели?

Они проснутся: погоди.

———

Земфира

Скажи, мой друг: ты не жалеешь
О том, что бросил навсегда?

Алеко

Что ж бросил я?

Земфира

Ты разумеешь:
Людей отчизны, города.

Алеко

О чем жалеть? Когда б ты знала,
Когда бы ты воображала
Неволю душных городов!
Там люди в кучах, за оградой,
Не дышат утренней прохладой,
Ни вешним запахом лугов;
Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей.

Что бросил я? Измен волненье,
Предрассуждений приговор,
Толпы безумное гоненье
Или блистательный позор.

Земфира

Но там огромные палаты,
Там разноцветные ковры,
Там игры, шумные пиры,
Уборы дев там так богаты!

Алеко

Что шум веселий городских?
Где нет любви, там нет веселий;
А девы… Как ты лучше их
И без нарядов дорогих,
Без жемчугов, без ожерелий!
Не изменись, мой нежный друг!
А я… одно мое желанье
С тобой делить любовь, досуг
И добровольное изгнанье.

Старик

Ты любишь нас, хоть и рожден

Среди богатого народа;
Но не всегда мила свобода
Тому, кто к неге приучен.
Меж нами есть одно преданье:
Царем когда-то сослан был
Полудня житель к нам в изгнанье.
(Я прежде знал, но позабыл
Его мудреное прозванье.)
Он был уже летами стар,
Но млад и жив душой незлобной:
Имел он песен дивный дар
И голос, шуму вод подобный.
И полюбили все его,
И жил он на брегах Дуная,
Не обижая никого,
Людей рассказами пленяя.
Не разумел он ничего,
И слаб и робок был, как дети;
Чужие люди за него
Зверей и рыб ловили в сети;
Как мерзла быстрая река
И зимни вихри бушевали,

Пушистой кожей покрывали
Они святого старика;
Но он к заботам жизни бедной
Привыкнуть никогда не мог;
Скитался он иссохший, бледный,
Он говорил, что гневный Бог
Его карал за преступленье,
Он ждал: придет ли избавленье.
И всё несчастный тосковал,
Бродя по берегам Дуная,
Да горьки слезы проливал,
Свой дальный град воспоминая,
И завещал он, умирая,
Чтобы на юг перенесли
Его тоскующие кости,
И смертью – чуждой сей земли —
Не успокоенные гости.

Алеко

Так вот судьба твоих сынов,
О Рим, о громкая держава!
Певец любви, певец богов,
Скажи мне: что такое слава?

Могильный гул, хвалебный глас,
Из рода в роды звук бегущий
Или под сенью дымной кущи
Цыгана дикого рассказ?

Прошло два лета. Так же бродят
Цыганы мирною толпой;
Везде по-прежнему находят
Гостеприимство и покой.
Презрев оковы просвещенья,
Алеко волен, как они;
Он без забот и сожаленья
Ведет кочующие дни.
Всё тот же он; семья всё та же;
Он, прежних лет не помня даже,
К бытью цыганскому привык.
Он любит их ночлегов сени,
И упоенье вечной лени,
И бедный, звучный их язык.
Медведь, беглец родной берлоги,
Косматый гость его шатра,
В селеньях, вдоль степной дороги,

Близ молдаванского двора
Перед толпою осторожной
И тяжко пляшет, и ревет,
И цепь докучную грызет.
На посох опершись дорожный,
Старик лениво в бубны бьет,
Алеко с пеньем зверя водит,
Земфира поселян обходит
И дань их вольную берет;
Настанет ночь; они все трое
Варят нежатое пшено;
Старик уснул – и всё в покое…
В шатре и тихо и темно.

———

Старик на вешнем солнце греет
Уж остывающую кровь;
У люльки дочь поет любовь.
Алеко внемлет и бледнеет.

Земфира

Старый муж, грозный муж,
Режь меня, жги меня:
Я тверда, не боюсь

Ни ножа, ни огня.

Ненавижу тебя,
Презираю тебя;
Я другого люблю,
Умираю любя.

Алеко

Молчи. Мне пенье надоело,
Я диких песен не люблю.

Земфира

Не любишь? мне какое дело
Я песню для себя пою.
Режь меня, жги меня;
Не скажу ничего;
Старый муж, грозный муж,
Не узнаешь его.

Он свежее весны,
Жарче летнего дня;
Как он молод и смел!
Как он любит меня!

Как ласкала его
Я в ночной тишине!

Как смеялись тогда
Мы твоей седине!

Алеко

Молчи, Земфира, я доволен…

Земфира

Так понял песню ты мою?

Алеко

Земфира!

Земфира

Ты сердиться волен,
Я песню про тебя пою.

(Уходит и поет: Старый муж и проч.)
Старик

Так, помню, помню; песня эта
Во время наше сложена.
Уже давно в забаву света
Поется меж людей она.
Кочуя на степях Кагула,
Ее, бывало, в зимню ночь
Моя певала Мариула,

Перед огнем качая дочь.
В уме моем минувши лета
Час от часу темней, темней;
Но заронилась песня эта
Глубоко в памяти моей.

_____

Всё тихо; ночь; луной украшен
Лазурный юга небосклон,
Старик Земфирой пробужден:
«О мой отец, Алеко страшен:
Послушай, сквозь тяжелый сон
И стонет, и рыдает он».

Старик

Не тронь его, храни молчанье.
Слыхал я русское преданье:
Теперь полунощной порой
У спящего теснит дыханье
Домашний дух; перед зарей
Уходит он. Сиди со мной.

Земфира

Отец мой! шепчет он: Земфира!

Старик

Тебя он ищет и во сне:
Ты для него дороже мира.

Земфира

Его любовь постыла мне,
Мне скучно, сердце воли просит,
Уж я… но тише! слышишь? он
Другое имя произносит…

Старик

Чье имя?

Земфира

Слышишь? хриплый стон
И скрежет ярый!.. Как ужасно!
Я разбужу его.

Старик

Напрасно,
Ночного духа не гони;
Уйдет и сам.

Земфира

Он повернулся,

Привстал; зовет меня; проснулся.
Иду к нему. – Прощай, усни.

Алеко

Где ты была?

Земфира

С отцом сидела.
Какой-то дух тебя томил,
Во сне душа твоя терпела
Мученья. Ты меня страшил:
Ты, сонный, скрежетал зубами
И звал меня.

Алеко

Мне снилась ты.
Я видел, будто между нами…
Я видел страшные мечты.

Земфира

Не верь лукавым сновиденьям.

Алеко

Ах, я не верю ничему:
Ни снам, ни сладким увереньям,

Ни даже сердцу твоему.

———

Старик

О чем, безумец молодой,
О чем вздыхаешь ты всечасно?
Здесь люди вольны, небо ясно,
И жены славятся красой.
Не плачь: тоска тебя погубит.

Алеко

Отец, она меня не любит.

Старик

Утешься, друг; она дитя,
Твое унынье безрассудно:
Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское шутя.
Взгляни: под отдаленным сводом
Гуляет вольная луна;
На всю природу мимоходом
Равно сиянье льет она.
Заглянет в облако любое,
Его так пышно озарит,

И вот – уж перешла в другое
И то недолго посетит.
Кто место в небе ей укажет,
Примолвя: там остановись!
Кто сердцу юной девы скажет:
Люби одно, не изменись?
Утешься!

Алеко

Как она любила!
Как нежно, преклонясь ко мне,
Она в пустынной тишине
Часы ночные проводила!
Веселья детского полна,
Как часто милым лепетаньем
Иль упоительным лобзаньем
Мою задумчивость она
В минуту разогнать умела!
И что ж? Земфира неверна!
Моя Земфира охладела.

Старик

Послушай: расскажу тебе

Я повесть о самом себе.
Давно, давно, когда Дунаю
Не угрожал еще москаль
(Вот видишь: я припоминаю,
Алеко, старую печаль) —
Тогда боялись мы султана;
А правил Буджаком паша
С высоких башен Аккермана —
Я молод был; моя душа
В то время радостно кипела,
И ни одна в кудрях моих
Еще сединка не белела;
Между красавиц молодых
Одна была… и долго ею,
Как солнцем, любовался я
И наконец назвал моею.

Ах, быстро молодость моя
Звездой падучею мелькнула!
Но ты, пора любви, минула
Еще быстрее: только год
Меня любила Мариула.

Однажды близ кагульских вод
Мы чуждый табор повстречали;
Цыганы те, свои шатры
Разбив близ наших у горы,
Две ночи вместе ночевали.
Они ушли на третью ночь,
И, брося маленькую дочь,
Ушла за ними Мариула.
Я мирно спал; заря блеснула;
Проснулся я: подруги нет!
Ищу, зову – пропал и след.
Тоскуя, плакала Земфира,
И я заплакал!.. с этих пор
Постыли мне все девы мира;
Меж ими никогда мой взор
Не выбирал себе подруги,
И одинокие досуги
Уже ни с кем я не делил.

Алеко

Да как же ты не поспешил
Тотчас вослед неблагодарной
И хищникам и ей, коварной,

Кинжала в сердце не вонзил?

Старик

К чему? вольнее птицы младость.
Кто в силах удержать любовь?
Чредою всем дается радость;
Что было, то не будет вновь.

Алеко

Я не таков. Нет, я не споря
От прав моих не откажусь
Или хоть мщеньем наслажусь.
О нет! когда б над бездной моря
Нашел я спящего врага,
Клянусь, и тут моя нога
Не пощадила бы злодея;
Я в волны моря, не бледнея,
И беззащитного б толкнул;
Внезапный ужас пробужденья
Свирепым смехом упрекнул,
И долго мне его паденья
Смешон и сладок был бы гул.

———

Молодой цыган

Еще одно, одно лобзанье!

Земфира

Пора: мой муж ревнив и зол.

Цыган

Одно… но доле! на прощанье.

Земфира

Прощай, покамест не пришел.

Цыган

Скажи – когда ж опять свиданье?

Земфира

Сегодня; как зайдет луна,
Там, за курганом над могилой…

Цыган

Обманет! не придет она.

Земфира

Беги – вот он. Приду, мой милый.

Алеко спит. В его уме
Виденье смутное играет;

Он, с криком пробудясь во тьме,
Ревниво руку простирает;
Но обробелая рука
Покровы хладные хватает —
Его подруга далека…
Он с трепетом привстал и внемлет…
Всё тихо: страх его объемлет,
По нем текут и жар и хлад;
Встает он, из шатра выходит,
Вокруг телег, ужасен, бродит;
Спокойно всё; поля молчат;
Темно; луна зашла в туманы,
Чуть брезжит звезд неверный свет,
Чуть по росе приметный след
Ведет за дальные курганы:
Нетерпеливо он идет,
Куда зловещий след ведет.

Могила на краю дороги
Вдали белеет перед ним,
Туда слабеющие ноги
Влачит, предчувствием томим,
Дрожат уста, дрожат колени,

Идет… и вдруг… иль это сон?
Вдруг видит близкие две тени
И близкий шепот слышит он
Над обесславленной могилой.

———

1-й голос

Пора.

2-й голос

Постой!

1-й голос

Пора, мой милый.

2-й голос

Нет, нет! постой, дождемся дня.

1-й голос

Уж поздно.

2-й голос

Как ты робко любишь.
Минуту!

1-й голос

Ты меня погубишь.

2-й голос

Минуту!

1-й голос

Если без меня
Проснется муж…

Алеко

Проснулся я.
Куда вы! не спешите оба;
Вам хорошо и здесь, у гроба.

Земфира

Мой друг, беги, беги!

Алеко

Постой!
Куда, красавец молодой?
Лежи!

(Вонзает в него нож.)

Земфира

Алеко!

Цыган

Умираю!

Земфира

Алеко! ты убьешь его!
Взгляни: ты весь обрызган кровью!
О, что ты сделал?

Алеко

Ничего.
Теперь дыши его любовью.

Земфира

Нет, полно, не боюсь тебя,
Твои угрозы презираю,
Твое убийство проклинаю.

Алеко

Умри ж и ты!

(Поражает ее.)

Земфира

Умру любя.

———

Восток, денницей озаренный,
Сиял. Алеко за холмом,
С ножом в руках, окровавленный
Сидел на камне гробовом.

Два трупа перед ним лежали;
Убийца страшен был лицом;
Цыганы робко окружали
Его встревоженной толпой;
Могилу в стороне копали,
Шли жены скорбной чередой
И в очи мертвых целовали.
Старик-отец один сидел
И на погибшую глядел
В немом бездействии печали;
Подняли трупы, понесли
И в лоно хладное земли
Чету младую положили.
Алеко издали смотрел
На всё. Когда же их закрыли
Последней горстию земной,
Он молча, медленно склонился
И с камня на траву свалился.

Тогда старик, приближась, рек:
«Оставь нас, гордый человек!
Мы дики, нет у нас законов,
Мы не терзаем, не казним,

Не нужно крови нам и стонов;
Но жить с убийцей не хотим.
Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли,
Ужасен нам твой будет глас:
Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел; – оставь же нас,
Прости! да будет мир с тобою».

Сказал, и шумною толпою
Поднялся табор кочевой
С долины страшного ночлега.
И скоро всё в дали степной
Сокрылось. Лишь одна телега,
Убогим крытая ковром,
Стояла в поле роковом.
Так иногда перед зимою,
Туманной, утренней порою,
Когда подъемлется с полей
Станица поздних журавлей
И с криком вдаль на юг несется, —
Пронзенный гибельным свинцом
Один печально остается,

Повиснув раненым крылом.
Настала ночь; в телеге темной
Огня никто не разложил,
Никто под крышею подъемной
До утра сном не опочил.

Эпилог

Волшебной силой песнопенья
В туманной памяти моей
Так оживляются виденья
То светлых, то печальных дней.

В стране, где долго, долго брани
Ужасный гул не умолкал,
Где повелительные грани
Стамбулу русский указал,
Где старый наш орел двуглавый
Еще шумит минувшей славой,
Встречал я посреди степей
Над рубежами древних станов
Телеги мирные цыганов,
Смиренной вольности детей.
За их ленивыми толпами

В пустынях часто я бродил,
Простую пищу их делил
И засыпал пред их огнями.
В походах медленных любил
Их песен радостные гулы —
И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил.

Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!
И под издранными шатрами
Живут мучительные сны,
И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

1824

Полтава

The power and glory of the war,
Faithless as their vain votaries, men,
Had pass'd to the triumphant Czar.

Byron[35]

Посвящение

Тебе – но голос музы темной
Коснется ль уха твоего?
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего?
Иль посвящение поэта,
Как некогда его любовь,
Перед тобою без ответа
Пройдет, непризнанное вновь?

Узнай, по крайней мере, звуки,

---

[35] Примечания: 35
Мощь и слава войны,
Как и люди, их суетные поклонники,
Перешли на сторону торжествующего царя.
Байрон (*англ.*).

Бывало, милые тебе —
И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе,
Твоя печальная пустыня,
Последний звук твоих речей
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.

Песнь первая

Богат и славен Кочубей[1].
Его луга необозримы;
Там табуны его коней
Пасутся вольны, нехранимы.
Кругом Полтавы хутора[2]
Окружены его садами,
И много у него добра,
Мехов, атласа, серебра
И на виду и под замками.
Но Кочубей богат и горд
Не долгогривыми конями,
Не златом, данью крымских орд,

Не родовыми хуторами.
Прекрасной дочерью своей
Гордится старый Кочубей [3].

И то сказать: в Полтаве нет
Красавицы, Марии равной.
Она свежа, как вешний цвет,
Взлелеянный в тени дубравной.
Как тополь киевских высот,
Она стройна. Ее движенья
То лебедя пустынных вод
Напоминают плавный ход,
То лани быстрые стремленья.
Как пена, грудь ее бела.
Вокруг высокого чела,
Как тучи, локоны чернеют.
Звездой блестят ее глаза;
Ее уста, как роза, рдеют.
Но не единая краса
(Мгновенный цвет!) молвою шумной
В младой Марии почтена:
Везде прославилась она
Девицей скромной и разумной.

Зато завидных женихов
Ей шлет Украйна и Россия;
Но от венца, как от оков,
Бежит пугливая Мария.
Всем женихам отказ – и вот
За ней сам гетман сватов шлет[4].

Он стар. Он удручен годами,
Войной, заботами, трудами;
Но чувства в нем кипят, и вновь
Мазепа ведает любовь.

Мгновенно сердце молодое
Горит и гаснет. В нем любовь
Проходит и приходит вновь,
В нем чувство каждый день иное:
Не столь послушно, не слегка,
Не столь мгновенными страстями
Пылает сердце старика,
Окаменелое годами.
Упорно, медленно оно
В огне страстей раскалено;
Но поздний жар уж не остынет

И с жизнью лишь его покинет.

Не серна под утес уходит,
Орла послыша тяжкий лёт;
Одна в сенях невеста бродит,
Трепещет и решенья ждет.

И, вся полна негодованьем,
К ней мать идет и, с содроганьем
Схватив ей руку, говорит:
«Бесстыдный! старец нечестивый!
Возможно ль?.. нет, пока мы живы,
Нет! он греха не совершит.
Он, должный быть отцом и другом
Невинной крестницы своей…
Безумец! на закате дней
Он вздумал быть ее супругом».
Мария вздрогнула. Лицо
Покрыла бледность гробовая,
И, охладев как неживая,
Упала дева на крыльцо.

Она опомнилась, но снова
Закрыла очи – и ни слова

Не говорит. Отец и мать
Ей сердце ищут успокоить,
Боязнь и горесть разогнать,
Тревогу смутных дум устроить…
Напрасно. Целые два дня,
То молча плача, то стеня,
Мария не пила, не ела,
Шатаясь, бледная как тень,
Не зная сна. На третий день
Ее светлица опустела.

Никто не знал, когда и как
Она сокрылась. Лишь рыбак
Той ночью слышал конский топот,
Казачью речь и женский шепот,
И утром след осьми подков
Был виден на росе лугов.

Не только первый пух ланит
Да русы кудри молодые,
Порой и старца строгий вид,
Рубцы чела, власы седые
В воображенье красоты

Влагают страстные мечты.

И вскоре слуха Кочубея
Коснулась роковая весть:
Она забыла стыд и честь,
Она в объятиях злодея!
Какой позор! Отец и мать
Молву не смеют понимать.
Тогда лишь истина явилась
С своей ужасной наготой.
Тогда лишь только объяснилась
Душа преступницы младой.
Тогда лишь только стало явно,
Зачем бежала своенравно
Она семейственных оков,
Томилась тайно, воздыхала
И на приветы женихов
Молчаньем гордым отвечала;
Зачем так тихо за столом
Она лишь гетману внимала,
Когда беседа ликовала
И чаша пенилась вином;
Зачем она всегда певала

Те песни, кои он слагал[5],
Когда он беден был и мал,
Когда молва его не знала;
Зачем с неженскою душой
Она любила конный строй,
И бранный звон литавр, и клики
Пред бунчуком и булавой
Малороссийского владыки…[6]

Богат и знатен Кочубей.
Довольно у него друзей.
Свою омыть он может славу.
Он может возмутить Полтаву;
Внезапно средь его дворца
Он может мщением отца
Постигнуть гордого злодея;
Он может верною рукой
Вонзить… но замысел иной
Волнует сердце Кочубея.

Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,

Мужала с гением Петра.
Суровый был в науке славы
Ей дан учитель: не один
Урок нежданный и кровавый
Задал ей шведский паладин.
Но в искушеньях долгой кары,
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

Венчанный славой бесполезной,
Отважный Карл скользил над бездной.
Он шел на древнюю Москву,
Взметая русские дружины,
Как вихорь гонит прах долины
И клонит пыльную траву.
Он шел путем, где след оставил
В дни наши новый, сильный враг,
Когда падением ославил
Муж рока свой попятный шаг[7].

Украйна глухо волновалась.
Давно в ней искра разгоралась.

Друзья кровавой старины
Народной чаяли войны,
Роптали, требуя кичливо,
Чтоб гетман узы их расторг,
И Карла ждал нетерпеливо
Их легкомысленный восторг.
Вокруг Мазепы раздавался
Мятежный крик: пора, пора!
Но старый гетман оставался
Послушным подданным Петра.
Храня суровость обычайну,
Спокойно ведал он Украйну,
Молве, казалось, не внимал
И равнодушно пировал.

«Что ж гетман? – юноши твердили, —
Он изнемог; он слишком стар;
Труды и годы угасили
В нем прежний, деятельный жар.
Зачем дрожащею рукою
Еще он носит булаву?
Теперь бы грянуть нам войною
На ненавистную Москву!

Когда бы старый Дорошенко [8],
Иль Самойлович молодой[9],
Иль наш Палей [10], иль Гордеенко [11]
Владели силой войсковой,
Тогда б в снегах чужбины дальной
Не погибали казаки
И Малороссии печальной
Освобождались уж полки»[12].

Так, своеволием пылая,
Роптала юность удалая,
Опасных алча перемен,
Забыв отчизны давний плен,
Богдана счастливые споры,
Святые брани, договоры
И славу дедовских времен.
Но старость ходит осторожно
И подозрительно глядит.
Чего нельзя и что возможно,
Еще не вдруг она решит.
Кто снидет в глубину морскую,
Покрытую недвижно льдом?
Кто испытующим умом

Проникнет бездну роковую
Души коварной? Думы в ней,
Плоды подавленных страстей,
Лежат погружены глубоко,
И замысел давнишних дней,
Быть может, зреет одиноко.
Как знать? Но чем Мазепа злей,
Чем сердце в нем хитрей и ложней,
Тем с виду он неосторожней
И в обхождении простей.
Как он умеет самовластно
Сердца привлечь и разгадать,
Умами править безопасно,
Чужие тайны разрешать!
С какой доверчивостью лживой,
Как добродушно на пирах,
Со старцами старик болтливый,
Жалеет он о прошлых днях,
Свободу славит с своевольным,
Поносит власти с недовольным,
С ожесточенным слезы льет,
С глупцом разумну речь ведет!

Не многим, может быть, известно,
Что дух его неукротим,
Что рад и честно и бесчестно
Вредить он недругам своим;
Что ни единой он обиды,
С тех пор как жив, не забывал,
Что далеко преступны виды
Старик надменный простирал;
Что он не ведает святыни,
Что он не помнит благостыни,
Что он не любит ничего,
Что кровь готов он лить, как воду,
Что презирает он свободу,
Что нет отчизны для него.

Издавна умысел ужасный
Взлелеял тайно злой старик
В душе своей. Но взор опасный,
Враждебный взор его проник.

«Нет, дерзкий хищник, нет, губитель! –
Скрежеща мыслит Кочубей, —
Я пощажу твою обитель,

Темницу дочери моей;
Ты не истлеешь средь пожара,
Ты не издохнешь от удара
Казачьей сабли. Нет, злодей,
В руках московских палачей,
В крови, при тщетных отрицаньях,
На дыбе, корчась в истязаньях,
Ты проклянешь и день и час,

Когда ты дочь крестил у нас,
И пир, на коем чести чашу
Тебе я полну наливал,
И ночь, когда голубку нашу
Ты, старый коршун, заклевал!..»

Так! было время: с Кочубеем
Был друг Мазепа; в оны дни,
Как солью, хлебом и елеем,
Делились чувствами они.
Их кони по полям победы
Скакали рядом сквозь огни;
Нередко долгие беседы
Наедине вели они –

Пред Кочубеем гетман скрытный
Души мятежной, ненасытной
Отчасти бездну открывал
И о грядущих измененьях,
Переговорах, возмущеньях
В речах неясных намекал.
Так, было сердце Кочубея
В то время предано ему.
Но, в горькой злобе свирепея,
Теперь позыву одному
Оно послушно; он голубит
Едину мысль и день и ночь:
Иль сам погибнет, иль погубит –
Отмстит поруганную дочь.

Но предприимчивую злобу
Он крепко в сердце затаил.
«В бессильной горести, ко гробу

Теперь он мысли устремил.
Он зла Мазепе не желает;
Всему виновна дочь одна.
Но он и дочери прощает:

Пусть Богу даст ответ она,
Покрыв семью свою позором,
Забыв и небо и закон...»

А между тем орлиным взором
В кругу домашнем ищет он
Себе товарищей отважных,
Неколебимых, непродажных.
Во всем открылся он жене[13]*:*
Давно в глубокой тишине
Уже донос он грозный копит,
И, гнева женского полна,
Нетерпеливая жена
Супруга злобного торопит.
В тиши ночной, на ложе сна,
Как некий дух, ему она
О мщенье шепчет, укоряет,
И слезы льет, и ободряет,
И клятвы требует – и ей
Клянется мрачный Кочубей.

Удар обдуман. С Кочубеем
Бесстрашный Искра[14] *заодно.*

И оба мыслят: «Одолеем;
Врага паденье решено.
Но кто ж, усердьем пламенея,
Ревнуя к общему добру,

Донос на мощного злодея
Предубежденному Петру
К ногам положит, не робея?»

Между полтавских казаков,
Презренных девою несчастной,
Один с младенческих годов
Ее любил любовью страстной.
Вечерней, утренней порой,
На берегу реки родной,
В тени украинских черешен,
Бывало, он Марию ждал,
И ожиданием страдал,
И краткой встречей был утешен.
Он без надежд ее любил,
Не докучал он ей мольбою:
Отказа б он не пережил.
Когда наехали толпою

К ней женихи, из их рядов
Уныл и сир он удалился.
Когда же вдруг меж казаков
Позор Мариин огласился
И беспощадная молва
Ее со смехом поразила,
И тут Мария сохранила
Над ним привычные права.
Но если кто хотя случайно
Пред ним Мазепу называл,
То он бледнел, терзаясь тайно,
И взоры в землю опускал.
.....
Кто при звездах и при луне
Так поздно едет на коне?
Чей это конь неутомимый
Бежит в степи необозримой?

Казак на север держит путь,
Казак не хочет отдохнуть
Ни в чистом поле, ни в дубраве,
Ни при опасной переправе.

Как стекло булат его блестит,
Мешок за пазухой звенит,
Не спотыкаясь, конь ретивый
Бежит, размахивая гривой.

Червонцы нужны для гонца,
Булат потеха молодца,
Ретивый конь потеха тоже –
Но шапка для него дороже.

За шапку он оставить рад
Коня, червонцы и булат,
Но выдаст шапку только с бою,
И то лишь с буйной головою.

Зачем он шапкой дорожит?
Затем, что в ней донос зашит,
Донос на гетмана злодея
Царю Петру от Кочубея.

Грозы не чуя между тем,
Не ужасаемый ничем,
Мазепа козни продолжает.
С ним полномощный езуит[15]
Мятеж народный учреждает

И шаткий трон ему сулит.
Во тьме ночной они, как воры,
Ведут свои переговоры,
Измену ценят меж собой,
Слагают цифр универсалов [16],
Торгуют царской головой,
Торгуют клятвами вассалов.
Какой-то нищий во дворец
Неведомо отколе ходит,
И Орлик [17], гетманов делец,
Его приводит и выводит.
Повсюду тайно сеют яд
Его подосланные слуги:
Там на Дону казачьи круги
Они с Булавиным [18] мутят;
Там будят диких орд отвагу;
Там за порогами Днепра
Стращают буйную ватагу
Самодержавием Петра.
Мазепа всюду взор кидает
И письма шлет из края в край:
Угрозой хитрой подымает

Он на Москву Бахчисарай.
Король ему в Варшаве внемлет,
В стенах Очакова паша,
Во стане Карл и царь. Не дремлет
Его коварная душа;

Он, думой думу развивая,
Верней готовит свой удар;
В нем не слабеет воля злая,
Неутомим преступный жар.

Но как он вздрогнул, как воспрянул,
Когда пред ним незапно грянул
Упадший гром! когда ему,
Врагу России самому,
Вельможи русские[19] послали
В Полтаве писанный донос
И вместо праведных угроз,
Как жертве, ласки расточали;
И озабоченный войной,
Гнушаясь мнимой клеветой,
Донос оставя без вниманья,
Сам царь Иуду утешал

И злобу шумом наказанья
Смирить надолго обещал!

Мазепа, в горести притворной,
К царю возносит глас покорный.
«И знает Бог, и видит свет:
Он, бедный гетман, двадцать лет
Царю служил душою верной;
Его щедротою безмерной
Осыпан, дивно вознесен…
О, как слепа, безумна злоба!..
Ему ль теперь у двери гроба
Начать учение измен
И потемнять благую славу?
Не он ли помощь Станиславу[20]
С негодованьем отказал,
Стыдясь, отверг венец Украйны,
И договор и письма тайны
К царю, по долгу, отослал?
Не он ли наущеньям хана [21]
И цареградского салтана
Был глух? Усердием горя,
С врагами белого царя

Умом и саблей рад был спорить,
Трудов и жизни не жалел,
И ныне злобный недруг смел
Его седины опозорить!
И кто же? Искра, Кочубей!
Так долго быв его друзьями!..»
И с кровожадными слезами,
В холодной дерзости своей,
Их казни требует злодей...[22]

Чьей казни?.. старец непреклонный!
Чья дочь в объятиях его?
Но хладно сердца своего
Он заглушает ропот сонный.
Он говорит: «В неравный спор
Зачем вступает сей безумец?
Он сам, надменный вольнодумец,
Сам точит на себя топор.
Куда бежит, зажавши вежды?
На чем он основал надежды?
Или... но дочери любовь

Главы отцовской не искупит.

Любовник гетману уступит,
Не то моя прольется кровь».

Мария, бедная Мария,
Краса черкасских дочерей!
Не знаешь ты, какого змия
Ласкаешь на груди своей.
Какой же властью непонятной
К душе свирепой и развратной
Так сильно ты привлечена?
Кому ты в жертву отдана?
Его кудрявые седины,
Его глубокие морщины,
Его блестящий, впалый взор,
Его лукавый разговор
Тебе всего, всего дороже:
Ты мать забыть для них могла,
Соблазном постланное ложе
Ты отчей сени предпочла.
Своими чудными очами
Тебя старик заворожил,
Своими тихими речами
В тебе он совесть усыпил;

Ты на него с благоговеньем
Возводишь ослепленный взор,
Его лелеешь с умиленьем –
Тебе приятен твой позор,
Ты им, в безумном упоенье,
Как целомудрием горда –
Ты прелесть нежную стыда
В своем утратила паденье…

Что стыд Марии? что молва?
Что для нее мирские пени,
Когда склоняется в колени
К ней старца гордая глава,
Когда с ней гетман забывает
Судьбы своей и труд и шум,
Иль тайны смелых, грозных дум
Ей, деве робкой, открывает?
И дней невинных ей не жаль,
И душу ей одна печаль
Порой, как туча, затмевает:
Она унылых пред собой
Отца и мать воображает;
Она, сквозь слезы, видит их

В бездетной старости, одних,
И, мнится, пеням их внимает.
О, если б ведала она,
Что уж узнала вся Украйна!
Но от нее сохранена
Еще убийственная тайна.

Песнь вторая

Мазепа мрачен. Ум его
Смущен жестокими мечтами.
Мария нежными очами
Глядит на старца своего.
Она, обняв его колени,
Слова любви ему твердит.
Напрасно: черных помышлений
Ее любовь не удалит.
Пред бедной девой с невниманьем
Он хладно потупляет взор
И ей на ласковый укор
Одним ответствует молчаньем.
Удивлена, оскорблена,

Едва дыша, встает она
И говорит с негодованьем:

«Послушай, гетман: для тебя
Я позабыла всё на свете.
Навек однажды полюбя,
Одно имела я в предмете:
Твою любовь. Я для нее
Сгубила счастие мое,
Но ни о чем я не жалею.
Ты помнишь: в страшной тишине
В ту ночь, как стала я твоею,
Меня любить ты клялся мне.
Зачем же ты меня не любишь?»

Мазепа

Мой друг, несправедлива ты.
Оставь безумные мечты;
Ты подозреньем сердце губишь:
Нет, душу пылкую твою
Волнуют, ослепляют страсти.
Мария, верь: тебя люблю
Я больше славы, больше власти.

Мария

Неправда: ты со мной хитришь.
Давно ль мы были неразлучны?
Теперь ты ласк моих бежишь;
Теперь они тебе докучны;
Ты целый день в кругу старшин,
В пирах, разъездах – я забыта;
Ты долгой ночью иль один,
Иль с нищим, иль у езуита.
Любовь смиренная моя
Встречает хладную суровость.
Ты пил недавно, знаю я,
Здоровье Дульской. Это новость:
Кто эта Дульская?

Мазепа

И ты
Ревнива? Мне ль, в мои ли лета
Искать надменного привета
Самолюбивой красоты?
И стану ль я, старик суровый,
Как праздный юноша, вздыхать,

Влачить позорные оковы
И жен притворством искушать?

Мария

Нет, объяснись без отговорок
И просто, прямо отвечай.

Мазепа

Покой души твоей мне дорог,
Мария; так и быть: узнай.

Давно замыслили мы дело;
Теперь оно кипит у нас.
Благое время нам приспело;
Борьбы великой близок час.
Без милой вольности и славы
Склоняли долго мы главы
Под покровительством Варшавы,
Под самовластием Москвы.
Но независимой державой
Украйне быть уже пора:
И знамя вольности кровавой
Я подымаю на Петра.
Готово всё: в переговорах

Со мною оба короля;
И скоро в смутах, в бранных спорах,
Быть может, трон воздвигну я.
Друзей надежных я имею:
Княгиня Дульская и с нею
Мой езуит, да нищий сей
К концу мой замысел приводят.
Чрез руки их ко мне доходят
Наказы, письма королей.
Вот важные тебе признанья.
Довольна ль ты? Твои мечтанья
Рассеяны ль?

Мария

О милый мой,
Ты будешь царь земли родной!
Твоим сединам как пристанет
Корона царская!

Мазепа

Постой,
Не всё свершилось. Буря грянет;
Кто может знать, что ждет меня?

Мария

Я близ тебя не знаю страха –
Ты так могущ! О, знаю я:
Трон ждет тебя.

Мазепа

А если плаха?..

Мария

С тобой на плаху, если так.
Ах, пережить тебя могу ли?
Но нет: ты носишь власти знак.

Мазепа

Меня ты любишь?

Мария

Я! люблю ли?

Мазепа

Скажи: отец или супруг
Тебе дороже?

Мария

Милый друг,
К чему вопрос такой? тревожит

Меня напрасно он. Семью
Стараюсь я забыть мою.
Я стала ей в позор; быть может
(Какая страшная мечта!),
Моим отцом я проклята,
А за кого?

Мазепа

Так я дороже
Тебе отца? Молчишь…

Мария

О Боже!

Мазепа

Что ж? отвечай.

Мария

Реши ты сам.

Мазепа

Послушай: если было б нам,
Ему иль мне, погибнуть надо,
А ты бы нам судьей была,
Кого б ты в жертву принесла,

Кому бы ты была ограда?

Мария

Ах, полно! сердце не смущай!
Ты искуситель.

Мазепа

Отвечай!

Мария

Ты бледен; речь твоя сурова…
О, не сердись! Всем, всем готова
Тебе я жертвовать, поверь;
Но страшны мне слова такие.
Довольно.

Мазепа

Помни же, Мария,
Что ты сказала мне теперь.

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.

Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет
И пышных гетманов сады
И старый за́мок озаряет.
И тихо, тихо всё кругом;
Но в за́мке шепот и смятенье.
В одной из башен, под окном,
В глубоком, тяжком размышленье,
Окован, Кочубей сидит
И мрачно на небо глядит.

Заутра казнь. Но без боязни
Он мыслит об ужасной казни;
О жизни не жалеет он.
Что смерть ему? желанный сон.
Готов он лечь во гроб кровавый.
Дрема долит. Но, Боже правый!
К ногам злодея молча пасть,
Как бессловесное созданье,
Царем быть отдану во власть
Врагу царя на поруганье,
Утратить жизнь – и с нею честь,
Друзей с собой на плаху весть,

Над гробом слышать их проклятья,
Ложась безвинным под топор,
Врага веселый встретить взор
И смерти кинуться в объятья,
Не завещая никому
Вражды к злодею своему!..

И вспомнил он свою Полтаву,
Обычный круг семьи, друзей,
Минувших дней богатство, славу,
И песни дочери своей,
И старый дом, где он родился,
Где знал и труд и мирный сон,
И всё, чем в жизни насладился,
Что добровольно бросил он,
И для чего?

Но ключ в заржавом
Замке гремит – и, пробуждён,
Несчастный думает: вот он!
Вот на пути моем кровавом
Мой вождь под знаменем креста,
Грехов могущий разрешитель,

Духовной скорби врач, служитель
За нас распятого Христа,
Его святую кровь и тело
Принесший мне, да укреплюсь,
Да приступлю ко смерти смело
И жизни вечной приобщусь!

И с сокрушением сердечным
Готов несчастный Кочубей
Перед всесильным, бесконечным
Излить тоску мольбы своей.
Но не отшельника святого,
Он гостя узнает иного:
Свирепый Орлик перед ним.
И, отвращением томим,
Страдалец горько вопрошает:
– Ты здесь, жестокий человек?
Зачем последний мой ночлег
Еще Мазепа возмущает?

Орлик

Допрос не кончен: отвечай.

Кочубей

Я отвечал уже: ступай,
Оставь меня.

Орлик

Еще признанья
Пан гетман требует.

Кочубей

Но в чем?
Давно сознался я во всем,
Что вы хотели. Показанья
Мои все ложны. Я лукав,
Я строю козни. Гетман прав.
Чего вам более?

Орлик

Мы знаем,
Что ты несчетно был богат;
Мы знаем: не единый клад
Тобой в Диканьке[23] укрываем.
Свершиться казнь твоя должна;
Твое имение сполна
В казну поступит войсковую –
Таков закон. Я указую

Тебе последний долг: открой,
Где клады, скрытые тобой?

Кочубей

Так, не ошиблись вы: три клада
В сей жизни были мне отрада.
И первый клад мой честь была,
Клад этот пытка отняла;
Другой был клад невозвратимый
Честь дочери моей любимой.
Я день и ночь над ним дрожал:
Мазепа этот клад украл.
Но сохранил я клад последний,
Мой третий клад: святую месть.
Ее готовлюсь Богу снесть.

Орлик

Старик, оставь пустые бредни:
Сегодня покидая свет,
Питайся мыслию суровой.
Шутить не время. Дай ответ,
Когда не хочешь пытки новой:
Где спрятал деньги?

Кочубей

Злой холоп!
Окончишь ли допрос нелепый?
Повремени: дай лечь мне в гроб,
Тогда ступай себе с Мазепой
Мое наследие считать
Окровавленными перстами,
Мои подвалы разрывать,
Рубить и жечь сады с домами.
С собой возьмите дочь мою;

Она сама вам всё расскажет,
Сама все клады вам укажет;
Но ради Господа молю,
Теперь оставь меня в покое.

Орлик

Где спрятал деньги? укажи.
Не хочешь? – Деньги где? скажи,
Иль выйдет следствие плохое.
Подумай: место нам назначь.
Молчишь? – Ну, в пытку. Гей, палач![24]
Палач вошел…

О, ночь мучений!
Но где же гетман? где злодей?
Куда бежал от угрызений
Змеиной совести своей?
В светлице девы усыпленной,
Еще незнанием блаженной,
Близ ложа крестницы младой
Сидит с поникшею главой
Мазепа тихий и угрюмый.
В его душе проходят думы,
Одна другой мрачней, мрачней.
«Умрет безумный Кочубей;
Спасти нельзя его. Чем ближе
Цель гетмана, тем тверже он
Быть должен властью облечен,
Тем перед ним склоняться ниже
Должна вражда. Спасенья нет:

Доносчик и его клеврет
Умрут». Но, брося взор на ложе,
Мазепа думает: «О Боже!
Что будет с ней, когда она
Услышит слово роковое?

Досель она еще в покое –
Но тайна быть сохранена
Не может долее. Секира,
Упав поутру, загремит
По всей Украйне. Голос мира
Вокруг нее заговорит!..
Ах, вижу я: кому судьбою
Волненья жизни суждены,
Тот стой один перед грозою,
Не призывай к себе жены.
В одну телегу впрячь неможно
Коня и трепетную лань.
Забылся я неосторожно:
Теперь плачу безумства дань…
Всё, что цены себе не знает,
Всё, всё, чем жизнь мила бывает,
Бедняжка принесла мне в дар,
Мне, старцу мрачному, – и что же?
Какой готовлю ей удар!»
И он глядит: на тихом ложе
Как сладок юности покой!
Как сон ее лелеет нежно!

Уста раскрылись; безмятежно
Дыханье груди молодой;
А завтра, завтра… содрогаясь,
Мазепа отвращает взгляд,
Встает и, тихо пробираясь,
В уединённый сходит сад.

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Но мрачны странные мечты
В душе Мазепы: звезды ночи,
Как обвинительные очи,
За ним насмешливо глядят.
И тополи, стеснившись в ряд,
Качая тихо головою,
Как судьи, шепчут меж собою.
И летней, теплой ночи тьма
Душна, как черная тюрьма.

Вдруг… слабый крик… невнятный стон

Как бы из за́мка слышит он.
То был ли сон воображенья,
Иль плач совы, иль зверя вой,
Иль пытки стон, иль звук иной –
Но только своего волненья
Преодолеть не мог старик
И на протяжный слабый крик
Другим ответствовал – тем криком,
Которым он в веселье диком
Поля сраженья оглашал,
Когда с Забелой, с Гамалеем,
И – с ним… и с этим Кочубеем
Он в бранном пламени скакал.

Зари багряной полоса
Объемлет ярко небеса.
Блеснули долы, холмы, нивы,
Вершины рощ и волны рек.
Раздался утра шум игривый,
И пробудился человек.

Еще Мария сладко дышит,
Дремой объятая, и слышит

Сквозь легкий сон, что кто-то к ней
Вошел и ног ее коснулся.
Она проснулась – но скорей
С улыбкой взор ее сомкнулся
От блеска утренних лучей.
Мария руки протянула
И с негой томною шепнула:
«Мазепа, ты?..» Но голос ей
Иной ответствует… о Боже!
Вздрогнув, она глядит… и что же?
Пред нею мать…

Мать

Молчи, молчи;
Не погуби нас: я в ночи
Сюда прокралась осторожно
С единой, слезною мольбой.
Сегодня казнь. Тебе одной
Свирепство их смягчить возможно.
Спаси отца.

Дочь (*в ужасе*)

Какой отец?

Какая казнь?

Мать

Иль ты доныне
Не знаешь?.. нет! ты не в пустыне,
Ты во дворце; ты знать должна,
Как сила гетмана грозна,
Как он врагов своих карает,
Как государь ему внимает.
Но вижу: скорбную семью
Ты отвергаешь для Мазепы;
Тебя я сонну застаю,
Когда свершают суд свирепый,
Когда читают приговор,
Когда готов отцу топор.
Друг другу, вижу, мы чужие…
Опомнись, дочь моя! Мария,
Беги, пади к его ногам,
Спаси отца, будь ангел нам:
Твой взгляд злодеям руки свяжет,
Ты можешь их топор отвесть.
Рвись, требуй – гетман не откажет:
Ты для него забыла честь,

Родных и Бога.

Дочь

Что со мною?
Отец… Мазепа… казнь – с мольбою

Здесь, в этом за́мке мать моя –
Нет, иль ума лишилась я,
Иль это грезы.

Мать

Бог с тобою,
Нет, нет – не грезы, не мечты.
Ужель еще не знаешь ты,
Что твой отец ожесточенный
Бесчестья дочери не снес
И, жаждой мести увлеченный,
Царю на гетмана донес,
Что в истязаниях кровавых
Сознался в умыслах лукавых,
В стыде безумной клеветы,
Что, жертва смелой правоты,
Врагу он выдан головою,
Что пред громадой войсковою,

Когда его не осенит
Десница вышняя Господня,
Он должен быть казнен сегодня,
Что здесь покамест он сидит
В тюремной башне.

Дочь

Боже, боже!..
Сегодня! – бедный мой отец!
И дева падает на ложе,
Как хладный падает мертвец.
Пестреют шапки. Копья блещут.
Бьют в бубны. Скачут сердюки [25].
В строях равняются полки.
Толпы кипят. Сердца трепещут.
Дорога, как змеиный хвост,
Полна народу, шевелится.
Средь поля роковой намост.
На нем гуляет, веселится
Палач и алчно жертвы ждет:
То в руки белые берет,
Играючи, топор тяжелый,
То шутит с чернию веселой.

В гремучий говор всё слилось:
Крик женский, брань, и смех, и ропот.
Вдруг восклицанье раздалось,
И смолкло всё. Лишь конский топот
Был слышен в грозной тишине.
Там, окруженный сердюками,
Вельможный гетман с старшинами
Скакал на вороном коне.
А там по киевской дороге
Телега ехала. В тревоге
Все взоры обратили к ней.
В ней, с миром, с небом примиренный,
Могущей верой укрепленный,
Сидел безвинный Кочубей,
С ним Искра тихий, равнодушный,
Как агнец, жребию послушный.
Телега стала. Раздалось
Моленье ликов громогласных.
С кадил куренье поднялось.
За упокой души несчастных

Безмолвно молится народ,
Страдальцы за врагов. И вот

Идут они, взошли. На плаху,
Крестясь, ложится Кочубей.
Как будто в гробе, тьмы людей
Молчат. Топор блеснул с размаху,
И отскочила голова.
Всё поле охнуло. Другая
Катится вслед за ней, мигая.
Зарделась кровию трава –
И, сердцем радуясь во злобе,
Палач за чуб поймал их обе
И напряженною рукой
Потряс их обе над толпой.

Свершилась казнь. Народ беспечный
Идет, рассыпавшись, домой
И про свои работы вечны
Уже толкует меж собой.
Пустеет поле понемногу.
Тогда чрез пеструю дорогу
Перебежали две жены.
Утомлены, запылены,
Они, казалось, к месту казни
Спешили, полные боязни.

«Уж поздно», – кто-то им сказал
И в поле перстом указал.
Там роковой намост ломали,
Молился в черных ризах поп,
И на телегу подымали
Два казака дубовый гроб.

Один пред конною толпой
Мазепа, грозен, удалялся
От места казни. Он терзался
Какой-то страшной пустотой.
Никто к нему не приближался,
Не говорил он ничего;
Весь в пене мчался конь его.
Домой приехав, «что Мария?»
Спросил Мазепа. Слышит он
Ответы робкие, глухие…
Невольным страхом поражен,
Идет он к ней; в светлицу входит:
Светлица тихая пуста –
Он в сад, и там смятенный бродит;
Но вкруг широкого пруда,
В кустах, вдоль сеней безмятежных

Всё пусто, нет нигде следов –
Ушла! – Зовет он слуг надежных,
Своих проворных сердюков.
Они бегут. Храпят их кони –
Раздался дикий клик погони,
Верхом – и скачут молодцы
Во весь опор во все концы.

Бегут мгновенья дорогие.
Не возвращается Мария.
Никто не ведал, не слыхал,
Зачем и как она бежала.
Мазепа молча скрежетал.
Затихнув, челядь трепетала.
В груди кипучий яд нося,
В светлице гетман заперся.
Близ ложа там во мраке ночи
Сидел он, не смыкая очи,
Нездешней мукою томим.
Поутру посланные слуги
Один явились за другим.
Чуть кони двигались. Подпруги,
Подковы, узды, чепраки,

Всё было пеною покрыто,
В крови, растеряно, избито –
Но ни один ему принесть
Не мог о бедной деве весть.
И след ее существованья
Пропал, как будто звук пустой,
И мать одна во мрак изгнанья
Умчала горе с нищетой.

Песнь третия

Души глубокая печаль
Стремиться дерзновенно в даль
Вождю Украйны не мешает.
Твердея в умысле своем,
Он с гордым шведским королем
Свои сношенья продолжает.
Меж тем, чтоб обмануть верней
Глаза враждебного сомненья,
Он, окружась толпой врачей,
На ложе мнимого мученья,
Стоная, молит исцеленья.

Плоды страстей, войны, трудов,

Болезни, дряхлость и печали,
Предтечи смерти, приковали
Его к одру. Уже готов
Он скоро бренный мир оставить;
Святой обряд он хочет править,
Он архипастыря зовет
К одру сомнительной кончины,
И на коварные седины
Елей таинственный течет.

Но время шло. Москва напрасно
К себе гостей ждала всечасно,
Средь старых вражеских могил
Готовя шведам тризну тайну.
Незапно Карл поворотил
И перенес войну в Украйну.

И день настал. Встает с одра
Мазепа, сей страдалец хилый,
Сей труп живой, еще вчера
Стонавший слабо над могилой.
Теперь он мощный враг Петра.

Теперь он, бодрый, пред полками
Сверкает гордыми очами
И саблей машет – и к Десне
Проворно мчится на коне.
Согбенный тяжко жизнью старой,
Так оный хитрый кардинал,
Венчавшись римскою тиарой,
И прям, и здрав, и молод стал.

И весть на крыльях полетела.
Украйна смутно зашумела:
«Он перешел, он изменил,
К ногам он Карлу положил
Бунчук покорный». Пламя пышет,
Встает кровавая заря
Войны народной.
Кто опишет
Негодованье, гнев царя?[26]
Гремит анафема в соборах;
Мазепы лик терзает кат[27]*.*
На шумной раде, в вольных спорах
Другого гетмана творят.
С брегов пустынных Енисея

Семейства Искры, Кочубея
Поспешно призваны Петром.
Он с ними слезы проливает.
Он их, лаская, осыпает
И новой честью и добром.
Мазепы враг, наездник пылкий,
Старик Палей из мрака ссылки
В Украйну едет в царский стан.
Трепещет бунт осиротелый.
На плахе гибнет Чечель [28] смелый
И запорожский атаман.
И ты, любовник бранной славы,
Для шлема кинувший венец,
Твой близок день, ты вал Полтавы
Вдали завидел наконец.

И царь туда ж помчал дружины.
Они как буря притекли –
И оба стана средь равнины
Друг друга хитро облегли:
Не раз избитый в схватке смелой,
Заране кровью опьянелый,
С бойцом желанным наконец

Так грозный сходится боец.
И, злобясь, видит Карл могучий
Уж не расстроенные тучи
Несчастных нарвских беглецов,
А нить полков блестящих, стройных,
Послушных, быстрых и спокойных,
И ряд незыблемый штыков.

Но он решил: заутра бой.
Глубокий сон во стане шведа.
Лишь под палаткою одной
Ведется шепотом беседа.

«Нет, вижу я, нет, Орлик мой,
Поторопились мы некстати:
Расчет и дерзкий и плохой,
И в нем не будет благодати.
Пропала, видно, цель моя.
Что делать? дал я промах важный:
Ошибся в этом Карле я.
Он мальчик бойкий и отважный;
Два-три сраженья разыграть,
Конечно, может он с успехом,

К врагу на ужин прискакать [29],
Ответствовать на бомбу смехом [30];
Не хуже русского стрелка
Прокрасться в ночь ко вражью стану;
Свалить, как нынче, казака
И обменять на рану рану [31],
Но не ему вести борьбу
С самодержавным великаном:
Как полк, вертеться он судьбу
Принудить хочет барабаном;
Он слеп, упрям, нетерпелив,
И легкомыслен, и кичлив,
Бог весть какому счастью верит;
Он силы новые врага
Успехом прошлым только мерит –
Сломить ему свои рога.
Стыжусь: воинственным бродягой
Увлекся я на старость лет;
Был ослеплен его отвагой
И беглым счастием побед,
Как дева робкая».

Орлик

Сраженья
Дождемся. Время не ушло
С Петром опять войти в сношенья:
Еще поправить можно зло.
Разбитый нами, нет сомненья,
Царь не отвергнет примиренья.

Мазепа

Нет, поздно. Русскому царю
Со мной мириться невозможно.
Давно решилась непреложно
Моя судьба. Давно горю
Стесненной злобой. Под Азовом
Однажды я с царем суровым
Во ставке ночью пировал:
Полны вином кипели чаши,
Кипели с ними речи наши.
Я слово смелое сказал.
Смутились гости молодые…
Царь, вспыхнув, чашу уронил
И за усы мои седые
Меня с угрозой ухватил.
Тогда, смирясь в бессильном гневе,

Отмстить себе я клятву дал;
Носил ее – как мать во чреве
Младенца носит. Срок настал.
Так, обо мне воспоминанье
Хранить он будет до конца.
Петру я послан в наказанье;
Я терн в листах его венца:
Он дал бы грады родовые
И жизни лучшие часы,
Чтоб снова, как во дни былые,
Держать Мазепу за усы.
Но есть еще для нас надежды:
Кому бежать, решит заря.

Умолк и закрывает вежды
Изменник русского царя.

Горит восток зарею новой.
Уж на равнине, по холмам
Грохочут пушки. Дым багровый
Кругами всходит к небесам
Навстречу утренним лучам.
Полки ряды свои сомкнули.

В кустах рассыпались стрелки.
Катятся ядра, свищут пули;
Нависли хладные штыки.
Сыны любимые победы,
Сквозь огнь окопов рвутся шведы;
Волнуясь, конница летит;
Пехота движется за нею
И тяжкой твердостью своею
Ее стремление крепит.
И битвы поле роковое
Гремит, пылает здесь и там,
Но явно счастье боевое
Служить уж начинает нам.
Пальбой отбитые дружины,
Мешаясь, падают во прах.
Уходит Розен сквозь теснины;
Сдается пылкий Шлипенбах.
Тесним мы шведов рать за ратью;
Темнеет слава их знамен,
И бога браней благодатью
Наш каждый шаг запечатлен.

Тогда-то, свыше вдохновенный,

Раздался звучный глас Петра:
«За дело, с Богом!» Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как Божия гроза.
Идет. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь.
Почуя роковой огонь,
Дрожит. Глазами косо водит
И мчится в прахе боевом.
Гордясь могущим седоком.

Уж близок полдень. Жар пылает.
Как пахарь, битва отдыхает.
Кой-где гарцуют казаки.
Равняясь, строятся полки.
Молчит музыка боевая.
На холмах пушки, присмирев,
Прервали свой голодный рев.
И се – равнину оглашая
Далече грянуло ура:

Полки увидели Петра.

И он промчался пред полками,
Могущ и радостен, как бой.
Он поле пожирал очами.
За ним вослед неслись толпой
Сии птенцы гнезда Петрова –
В пременах жребия земного,
В трудах державства и войны
Его товарищи, сыны:
И Шереметев благородный,
И Брюс, и Боур, и Репнин,
И, счастья баловень безродный,
Полудержавный властелин.

И перед синими рядами
Своих воинственных дружин,
Несомый верными слугами,
В качалке, бледен, недвижим,
Страдая раной, Карл явился.
Вожди героя шли за ним.
Он в думу тихо погрузился.
Смущенный взор изобразил

Необычайное волненье.
Казалось, Карла приводил
Желанный бой в недоуменье…
Вдруг слабым манием руки
На русских двинул он полки.

И с ними царские дружины
Сошлись в дыму среди равнины:
И грянул бой. Полтавский бой!
В огне, под градом раскаленным,
Стеной живою отраженным,
Над падшим строем свежий строй
Штыки смыкает. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся сплеча.
Бросая груды тел на груду,
Шары чугунные повсюду
Меж ними прыгают, разят,
Прах роют и в крови шипят.
Швед, русский – колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,

И смерть и ад со всех сторон.

Среди тревоги и волненья
На битву взором вдохновенья
Вожди спокойные глядят,
Движенья ратные следят,
Предвидят гибель и победу
И в тишине ведут беседу.
Но близ московского царя
Кто воин сей под сединами?
Двумя поддержан казаками,
Сердечной ревностью горя,
Он оком опытным героя
Взирает на волненье боя.
Уж на коня не вскочит он,
Одрях, в изгнанье сиротея,
И казаки на клич Палея
Не налетят со всех сторон!
Но что ж его сверкнули очи
И гневом, будто мглою ночи,
Покрылось старое чело?
Что возмутить его могло?
Иль он, сквозь бранный дым, увидел

Врага Мазепу, и в сей миг
Свои лета возненавидел
Обезоруженный старик?

Мазепа, в думу погруженный,
Взирал на битву, окруженный
Толпой мятежных казаков,
Родных, старшин и сердюков.
Вдруг выстрел. Старец обратился.
У Войнаровского в руках
Мушкетный ствол еще дымился.
Сраженный в нескольких шагах,
Младой казак в крови валялся,
А конь, весь в пене и пыли,
Почуя волю, дико мчался,
Скрываясь в огненной дали.
Казак на гетмана стремился
Сквозь битву с саблею в руках,
С безумной яростью в очах.
Старик, подъехав, обратился
К нему с вопросом. Но казак
Уж умирал. Потухший зрак
Еще грозил врагу России;

Был мрачен помертвелый лик,
И имя нежное Марии
Чуть лепетал еще язык.

Но близок, близок миг победы.
Ура! мы ломим; гнутся шведы,
О славный час! о славный вид!
Еще напор – и враг бежит[32]:
И следом конница пустилась,
Убийством тупятся мечи,
И падшими вся степь покрылась,
Как роем черной саранчи.

Пирует Петр. И горд, и ясен,
И славы полон взор его.
И царский пир его прекрасен.
При кликах войска своего,
В шатре своем он угощает
Своих вождей, вождей чужих,
И славных пленников ласкает,
И за учителей своих
Заздравный кубок подымает.

Но где же первый, званый гость?

Где первый грозный наш учитель,
Чью долговременную злость
Смирил полтавский победитель?
И где ж Мазепа? где злодей?
Куда бежал Иуда в страхе?
Зачем король не меж гостей?
Зачем изменник не на плахе?[33]

Верхом, в глуши степей нагих,
Король и гетман мчатся оба.
Бегут. Судьба связала их.
Опасность близкая и злоба
Даруют силу королю,
Он рану тяжкую свою
Забыл. Поникнув головою,
Он скачет, русскими гоним,
И слуги верные толпою
Чуть могут следовать за ним.

Обозревая зорким взглядом
Степей широкий полукруг,
С ним старый гетман скачет рядом.
Пред ними хутор… Что же вдруг

Мазепа будто испугался?
Что мимо хутора помчался
Он стороной во весь опор?
Иль этот запустелый двор,
И дом, и сад уединенный,
И в поле отпертая дверь
Какой-нибудь рассказ забвенный
Ему напомнили теперь?
Святой невинности губитель!
Узнал ли ты сию обитель,
Сей дом, веселый прежде дом,
Где ты, вином разгоряченный,
Семьей счастливой окруженный,
Шутил, бывало, за столом?
Узнал ли ты приют укромный,
Где мирный ангел обитал,
И сад, откуда ночью темной
Ты вывел в степь… Узнал, узнал!

Ночные тени степь объемлют.
На бреге синего Днепра
Между скалами чутко дремлют
Враги России и Петра.

Щадят мечты покой героя,
Урон Полтавы он забыл.
Но сон Мазепы смутен был.
В нем мрачный дух не знал покоя.
И вдруг в безмолвии ночном
Его зовут. Он пробудился.
Глядит: над ним, грозя перстом,
Тихонько кто-то наклонился.
Он вздрогнул, как под топором…
Пред ним с развитыми власами,
Сверкая впалыми глазами,
Вся в рубище, худа, бледна,
Стоит, луной освещена…
«Иль это сон?.. Мария… ты ли?»

Мария

Ах, тише, тише, друг!.. Сейчас
Отец и мать глаза закрыли…
Постой… услышать могут нас.

Мазепа

Мария, бедная Мария!
Опомнись! Боже!.. Что с тобой?

Мария

Послушай: хитрости какие!
Что за рассказ у них смешной?
Она за тайну мне сказала,
Что умер бедный мой отец,
И мне тихонько показала
Седую голову – Творец!
Куда бежать нам от злоречья?
Подумай: эта голова
Была совсем не человечья,
А волчья – видишь: какова!
Чем обмануть меня хотела!
Не стыдно ль ей меня пугать?
И для чего? чтоб я не смела
С тобой сегодня убежать!
Возможно ль?
С горестью глубокой
Любовник ей внимал жестокий.
Но, вихрю мыслей предана,
«Однако ж, – говорит она, —
Я помню поле… праздник шумный…
И чернь… и мертвые тела…

На праздник мать меня вела...
Но где ж ты был?.. С тобою розно
Зачем в ночи скитаюсь я?
Пойдем домой. Скорей... уж поздно.
Ах, вижу, голова моя
Полна волнения пустого:
Я принимала за другого
Тебя, старик. Оставь меня.
Твой взор насмешлив и ужасен.
Ты безобразен. Он прекрасен:
В его глазах блестит любовь,
В его речах такая нега!
Его усы белее снега,
А на твоих засохла кровь!..»

И с диким смехом завизжала,
И легче серны молодой
Она вспрыгнула, побежала
И скрылась в темноте ночной.

Редела тень. Восток алел.
Огонь казачий пламенел.
Пшеницу казаки варили;

Драбанты у брегу Днепра
Коней расседланных поили.
Проснулся Карл. «Ого! пора!
Вставай, Мазепа. Рассветает».
Но гетман уж не спит давно.
Тоска, тоска его снедает;
В груди дыханье стеснено.
И молча он коня седлает,
И скачет с беглым королем,
И страшно взор его сверкает,
С родным прощаясь рубежом.

Прошло сто лет – и что ж осталось
От сильных, гордых сих мужей,
Столь полных волею страстей?
Их поколенье миновалось –
И с ним исчез кровавый след
Усилий, бедствий и побед.
В гражданстве северной державы,
В ее воинственной судьбе,
Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе.

В стране, где мельниц ряд крылатый
Оградой мирной обступил
Бендер пустынные раскаты,
Где бродят буйволы рогаты
Вокруг воинственных могил, —
Останки разоренной сени,
Три углубленные в земле
И мхом поросшие ступени
Гласят о шведском короле.
С них отражал герой безумный,
Один в толпе домашних слуг,
Турецкой рати приступ шумный,
И бросил шпагу под бунчук;
И тщетно там пришлец унылый
Искал бы гетманской могилы:
Забыт Мазепа с давних пор;
Лишь в торжествующей святыне
Раз в год анафемой доныне,
Грозя, гремит о нем собор.
Но сохранилася могила,
Где двух страдальцев прах почил:
Меж древних праведных могил

Их мирно церковь приютила [34].
Цветет в Диканьке древний ряд
Дубов, друзьями насажденных;
Они о праотцах казненных
Доныне внукам говорят.
Но дочь преступница… преданья
Об ней молчат. Ее страданья,
Ее судьба, ее конец
Непроницаемою тьмою
От нас закрыты. Лишь порою
Слепой украинский певец,
Когда в селе перед народом
Он песни гетмана бренчит,
О грешной деве мимоходом
Казачкам юным говорит.

Примечания

[1] Василий Леонтьевич *Кочубей*, генеральный судия, один из предков нынешних графов.

[2] *Хутор* — загородный дом.

[3] У Кочубея было несколько дочерей; одна из них была замужем за Обидовским, племянником Мазепы. Та, о которой здесь упоминается, назы-

валась Матреной.

[4] Мазепа в самом деле сватал свою крестницу, но ему отказали.

[5] Предание приписывает Мазепе несколько песен, доныне сохранившихся в памяти народной. Кочубей в своем доносе также упоминает о патриотической думе, будто бы сочиненной Мазепою. Она замечательна не в одном историческом отношении.

[6] *Бунчук и булава* — знаки гетманского достоинства.

[7] Смотр. *Мазепу* Байрона.

[8] *Дорошенко*, один из героев древней Малороссии, непримиримый враг русского владычества.

[9] Григорий *Самойлович*, сын гетмана, сосланного в Сибирь в начале царствования Петра I.

[10] Симеон *Палей*, хвастовский полковник, славный наездник, за своевольные набеги сослан был в Енисейск по жалобам Мазепы. Когда сей последний оказался изменником, то и Палей, как закоренелый враг его, был возвращен из ссылки и находился в Полтавском сражении.

[11] Костя *Гордеенко*, кошевой атаман запорожских казаков. Впоследствии передался Карлу XII. Взят в плен и казнен в 1708 г.

[12] 20 000 казаков было послано в Лифляндию.

[13] Мазепа в одном письме упрекает Кочубея в том, что им управляет жена его, *гордая и высокоумная.*

[14] *Искра*, полтавский полковник, товарищ Кочубея, разделивший с ним его умысел и участь.

[15] *Езуит* Заленский, княгиня Дульская и какой-то болгарский архиепископ, изгнанный из своего отечества, были главными агентами Мазепиной измены. Последний в виде нищего ходил из Польши в Украйну и обратно.

[16] Так назывались манифесты гетманов.

[17] Филипп *Орлик*, генеральный писарь, наперсник Мазепы, после смерти (в 1710) сего последнего получил от Карла XII пустой титул Малороссийского гетмана. Впоследствии принял магометанскую веру и умер в Бендерах около 1736 года.

[18] *Булавин*, донской казак, бунтовавший около того времени.

[19] Тайный секретарь Шафиров и гр. Головкин, друзья и покровители Мазепы; на них, по справедливости, должен лежать ужас суда и казни доносителей.

[20] В 1705 году. Смотр. примечания к *Истории Малороссии* Бантыша-Каменского.

[21] Во время неудачного похода в Крым Казы-Ги-

рей предлагал ему соединиться с ним и вместе напасть на русское войско.

[22] В своих письмах он жаловался, что доносителей пытали слишком легко, и неотступно требовал их казни, сравнивая себя с Сусанною, неповинно оклеветанною беззаконными старцами, а графа Головкина — с пророком Даниилом.

[23] Деревня Кочубея.

[24] Уже осужденный на смерть, Кочубей был пытан в войске гетмана. По ответам несчастного видно, что его допрашивали о сокровищах, им утаенных.

[25] Войско, состоявшее на собственном иждивении гетманов.

[26] Сильные меры, принятые Петром с обыкновенной его быстротой и энергией, удержали Украйну в повиновении.

«1708 ноября 7-го числа, по указу государеву, казаки по обычаю своему вольными голосами выбрали в гетманы полковника стародубского Ивана Скоропадского.

8-го числа приехали в Глухов киевский, черниговский и переяславский архиепископы.

А 9-го дня предали клятве Мазепу оные архиереи публично; того же дня и персону (куклу) оного изменника Мазепы вынесли и, сняв ка-

валерию (которая на ту персону была надета с бантом), оную персону бросили в палачевские руки, которую палач, взяв и прицепя на веревку, тащил по улице и по площади даже до виселицы, и потом повесили.

В Глухове же 10-го дня казнили Чечеля и прочих изменников…» *(Журнал Петра Великого.)*

[27] Малороссийское слово. По-русски — палач.

[28] *Чечель* отчаянно защищал Батурин против войск князя Меншикова.

[29] В Дрезден к королю Августу. См.: *Voltaire. Histoire de Charles XII*[36].

[30] «Ах, ваше величество! бомба!..» — «Что есть общего между бомбою и письмом, которое тебе диктую? пиши». Это случилось гораздо после.

[31] Ночью Карл, сам осматривая наш лагерь, наехал на казаков, сидевших у огня. Он поскакал прямо к ним и одного из них застрелил из собственных рук. Казаки дали по нем три выстрела и жестоко ранили его в ногу.

[32] Благодаря прекрасным распоряжениям и действиям князя Меншикова, участь главного сражения была решена заранее. Дело не продолжалось и двух часов. *Ибо* (сказано в Журнале

---

[36] Примечания: 36
Вольтер. История Карла XII (*фр.*).

Петра Великого) *непобедимые господа шведы скоро хребет свой показали, и от наших войск вся неприятельская армия весьма опрокинута.* Петр впоследствии времени многое прощал Данилычу за услуги, оказанные в сей день генералом князем Меншиковым.

33 L'Empereur Moscovite, pénétré d'une joie qu'il ne se mettait pas en peine de dissimuler (было о чем и радоваться), recevait sur le champ de bataille les prisonniers qu'on lui amenait en foule et demandait à tout moment: où est donc mon frère Charles?..... Alors prenant un verre de vin: A la santé, dit-il, de mes maîtres dans l'art de la guerre! — Renschild lui demanda: qui étaient ceux qu'il honorait d'un si beau litre. — Vous, Messieuré les généraux suédois, reprit le Czar. — Votre Majesteˊ est donc bien ingrate, reprit le Comte, d'avoir tant maltraité ses maîtres[37].

34 Обезглавленные тела Искры и Кочубея были отданы родственникам и похоронены в Киевской лавре; над их гробом высечена следующая

---

[37] Примечания: 37

Московский император, проникнутый радостью, которую он не давал себе труда скрывать... принимал на поле битвы пленников, которых ему приводили толпой, то и дело спрашивая: «А где же мой брат Карл?»..... Тогда, взяв стакан вина, он сказал: «За здоровье моих учителей в военном искусстве!» Реншильд спросил его, кого он почтил таким славным титулом. «Вас, господа шведские генералы», — ответил царь. «В таком случае ваше величество очень неблагодарны, — ответил граф, — вы так дурно обошлись со своими учителями» (*фр.*).

надпись:

«Кто еси мимо грядый о нас неведущий,
Елицы зде естесмо положены сущи,
Понеже нам страсть и смерть повеле молчати,
Сей камень возошеть о нас ти вещати,
И за правду и верность к Монарсе нашу
Страдания и смерти испимо чашу,
Злуданьем Мазепы, все вечно правы,
Посечены зоставше топором во главы;
Почиваем в сем месте Матери Владычни
Подающая всем своим рабом живот вечный.

Року 1708, месяца июля 15 дня, посечены средь Обозу Войсковаго, за Белою Церковию на Борщаговце и Ковшевом, благородный Василий Кочубей, судия генеральный; Иоанн Искра, полковник полтавский. Привезены же тела их июля 17 в Киев и того ж дни в обители святой Печерской на сем месте погребены».

1828

Медный всадник
Петербургская повесть
Предисловие

Происшествие, описанное в сей повести, основано на истине. Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов. Любопытные могут справиться с известием, составленным *В. Н. Берхом.*

Вступление

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам

В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.

И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу.
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно [1],
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.

Прошло сто лет, и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво;
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхий невод, ныне там

По оживленным берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Темно-зелеными садами
Ее покрылись острова,
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова.

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,

И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса [2].
Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз,
И блеск, и шум, и говор балов,
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.
Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красивость,
В их стройно зыблемом строю
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,

Насквозь простреленных в бою.
Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром,
Когда полнощная царица
Дарует сына в царский дом,
Или победу над врагом
Россия снова торжествует,
Или, взломав свой синий лед,
Нева к морям его несет
И, чуя вешни дни, ликует.

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия;
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!

Была ужасная пора,
Об ней свежо воспоминанье...
Об ней, друзья мои, для вас

Начну свое повествованье.
Печален будет мой рассказ.

Часть первая

Над омраченным Петроградом
Дышал ноябрь осенним хладом.
Плеская шумною волной
В края своей ограды стройной,
Нева металась, как больной
В своей постеле беспокойной.
Уж было поздно и темно;
Сердито бился дождь в окно,
И ветер дул, печально воя.
В то время из гостей домой
Пришел Евгений молодой…
Мы будем нашего героя
Звать этим именем. Оно
Звучит приятно; с ним давно
Мое перо к тому же дружно.
Прозванья нам его не нужно.
Хотя в минувши времена

Оно, быть может, и блистало
И под пером Карамзина
В родных преданьях прозвучало;
Но ныне светом и молвой
Оно забыто. Наш герой
Живет в Коломне; где-то служит,
Дичится знатных и не тужит
Ни о почившей родне,
Ни о забытой старине.

Итак, домой пришед, Евгений
Стряхнул шинель, разделся, лег.
Но долго он заснуть не мог
В волненье разных размышлений.
О чем же думал он? о том,
Что был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь;
Что мог бы Бог ему прибавить
Ума и денег. Что ведь есть
Такие праздные счастливцы,
Ума недальнего, ленивцы,
Которым жизнь куда легка!

Что служит он всего два года;
Он также думал, что погода
Не унималась; что река
Всё прибывала; что едва ли
С Невы мостов уже не сняли
И что с Парашей будет он
Дни на два, на три разлучен.
Евгений тут вздохнул сердечно
И размечтался, как поэт:

«Жениться? Мне? зачем же нет?
Оно и тяжело, конечно;
Но что ж, я молод и здоров,
Трудиться день и ночь готов;
Уж кое-как себе устрою
Приют смиренный и простой
И в нем Парашу успокою.
Пройдет, быть может, год-другой –
Местечко получу. Параше
Препоручу хозяйство наше
И воспитание ребят…
И станем жить, и так до гроба
Рука с рукой дойдем мы оба,

И внуки нас похоронят...»

Так он мечтал. И грустно было
Ему в ту ночь, и он желал,
Чтоб ветер выл не так уныло
И чтобы дождь в окно стучал
Не так сердито...
Сонны очи
Он наконец закрыл. И вот
Редеет мгла ненастной ночи
И бледный день уж настает...[3]
Ужасный день!
Нева всю ночь
Рвалася к морю против бури,
Не одолев их буйной дури...
И спорить стало ей невмочь...
Поутру над ее брегами
Теснился кучами народ,
Любуясь брызгами, горами
И пеной разъяренных вод.
Но силой ветров от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,

И затопляла острова,
Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась. Пред нею
Всё побежало, всё вокруг
Вдруг опустело – воды вдруг
Втекли в подземные подвалы,
К решеткам хлынули каналы,
И всплыл Петрополь, как тритон,
По пояс в воду погружен.

Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна. Челны
С разбега стекла бьют кормой.
Лотки под мокрой пеленой,
Обломки хижин, бревна, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам!

Народ
Зрит Божий гнев и казни ждет.
Увы! всё гибнет: кров и пища!
Где будет взять?
В тот грозный год
Покойный царь еще Россией
Со славой правил. На балкон,
Печален, смутен, вышел он
И молвил: «С Божией стихией
Царям не совладеть». Он сел
И в думе скорбными очами
На злое бедствие глядел.
Стояли стогны озерами,
И в них широкими реками
Вливались улицы. Дворец
Казался островом печальным.
Царь молвил – из конца в конец,
По ближним улицам и дальным,
В опасный путь средь бурных вод
Его пустились генералы[4]
Спасать и прахом обуялый
И дома тонущий народ.

Тогда, на площади Петровой,
Где дом в углу вознесся новый,
Где над возвышенным крыльцом
С подъятой лапой, как живые,
Стоят два льва сторожевые,
На звере мраморном верхом,
Без шляпы, руки сжав крестом,
Сидел недвижный, страшно бледный
Евгений. Он страшился, бедный.
Не за себя. Он не слыхал
Как подымался жадный вал,
Ему подошвы подмывая,
Как дождь ему в лицо хлестал,
Как ветер, буйно завывая,
С него и шляпу вдруг сорвал.
Его отчаянные взоры
На край один наведены
Недвижно были. Словно горы,
Из возмущенной глубины
Вставали волны там и злились,
Там буря выла, там носились
Обломки… Боже, Боже! там –

Увы! близехонько к волнам,
Почти у самого залива –
Забор некрашеный да ива
И ветхий домик: там оне,
Вдова и дочь, его Параша,
Его мечта… Или во сне
Он это видит? иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей?
И он, как будто околдован,
Как будто к мрамору прикован,
Сойти не может! Вкруг него
Вода и больше ничего!
И, обращен к нему спиною,
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою
Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне.

Часть вторая

Но вот, насытясь разрушеньем

И наглым буйством утомясь,
Нева обратно повлеклась,
Своим любуясь возмущеньем
И покидая с небреженьем
Свою добычу. Так злодей,
С свирепой шайкою своей
В село ворвавшись, ломит, режет,
Крушит и грабит; вопли, скрежет,
Насилье, брань, тревога, вой!..
И, грабежом отягощенны,
Боясь погони, утомленны,
Спешат разбойники домой,
Добычу на пути роняя.

Вода сбыла, и мостовая
Открылась, и Евгений мой
Спешит, душою замирая,
В надежде, страхе и тоске
К едва смирившейся реке.
Но, торжеством победы полны,
Еще кипели злобно волны,
Как бы под ними тлел огонь,
Еще их пена покрывала,

И тяжело Нева дышала,
Как с битвы прибегавший конь.
Евгений смотрит: видит лодку;
Он к ней бежит как на находку;
Он перевозчика зовет –
И перевозчик беззаботный
Его за гривенник охотно
Чрез волны страшные везет.

И долго с бурными волнами
Боролся опытный гребец,
И скрыться вглубь меж их рядами
Всечасно с дерзкими пловцами
Готов был челн – и наконец
Достиг он берега.
Несчастный
Знакомой улицей бежит
В места знакомые. Глядит,
Узнать не может. Вид ужасный!
Всё перед ним завалено;
Что сброшено, что снесено;
Скривились домики, другие
Совсем обрушились, иные

Волнами сдвинуты; кругом,
Как будто в поле боевом,
Тела валяются. Евгений
Стремглав, не помня ничего,
Изнемогая от мучений,
Бежит туда, где ждет его
Судьба с неведомым известьем,
Как с запечатанным письмом.
И вот бежит уж он предместьем,
И вот залив, и близок дом…
Что ж это?..
Он остановился.
Пошел назад и воротился.
Глядит… идет… еще глядит.
Вот место, где их дом стоит;
Вот ива. Были здесь вороты –
Снесло их, видно. Где же дом?
И, полон сумрачной заботы,
Всё ходит, ходит он кругом,
Толкует громко сам с собою –
И вдруг, ударя в лоб рукою,
Захохотал.

Ночная мгла
На город трепетный сошла;
Но долго жители не спали
И меж собою толковали
О дне минувшем.
Утра луч
Из-за усталых, бледных туч
Блеснул над тихою столицей
И не нашел уже следов
Беды вчерашней; багряницей
Уже прикрыто было зло.
В порядок прежний всё вошло.
Уже по улицам свободным
С своим бесчувствием холодным
Ходил народ. Чиновный люд,
Покинув свой ночной приют,
На службу шел. Торгаш отважный,
Не унывая, открывал
Невой ограбленный подвал,
Сбираясь свой убыток важный
На ближнем выместить. С дворов
Свозили лодки.

Граф Хвостов,
Поэт, любимый небесами,
Уж пел бессмертными стихами
Несчастье невских берегов.

Но бедный, бедный мой Евгений…
Увы! его смятенный ум
Против ужасных потрясений
Не устоял. Мятежный шум
Невы и ветров раздавался
В его ушах. Ужасных дум
Безмолвно полон, он скитался.
Его терзал какой-то сон.
Прошла неделя, месяц – он
К себе домой не возвращался.
Его пустынный уголок
Отдал внаймы, как вышел срок,
Хозяин бедному поэту.
Евгений за своим добром
Не приходил. Он скоро свету
Стал чужд. Весь день бродил пешком,
А спал на пристани; питался
В окошко поданным куском.

Одежда ветхая на нем
Рвалась и тлела. Злые дети
Бросали камни вслед ему.
Нередко кучерские плети
Его стегали, потому
Что он не разбирал дороги
Уж никогда; казалось – он
Не примечал. Он оглушен
Был шумом внутренней тревоги.
И так он свой несчастный век
Влачил, ни зверь ни человек,
Ни то ни сё, ни житель света,
Ни призрак мертвый…
Раз он спал
У невской пристани. Дни лета
Клонились к осени. Дышал
Ненастный ветер. Мрачный вал
Плескал на пристань, ропща пени
И бьясь об гладкие ступени,
Как челобитчик у дверей
Ему не внемлющих судей.
Бедняк проснулся. Мрачно было:

Дождь капал, ветер выл уныло,
И с ним вдали во тьме ночной
Перекликался часовой…
Вскочил Евгений; вспомнил живо
Он прошлый ужас; торопливо
Он встал; пошел бродить, и вдруг
Остановился, и вокруг
Тихонько стал водить очами
С боязнью дикой на лице.
Он очутился под столбами
Большого дома. На крыльце
С подъятой лапой, как живые,
Стояли львы сторожевые,
И прямо в темной вышине
Над огражденною скалою
Кумир с простертою рукою
Сидел на бронзовом коне.

Евгений вздрогнул. Прояснились
В нем страшно мысли. Он узнал
И место, где потоп играл,
Где волны хищные толпились,
Бунтуя злобно вкруг него,

И львов, и площадь, и того,
Кто неподвижно возвышался
Во мраке медною главой,
Того, чьей волей роковой
Под морем город основался…
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?[5]

Кругом подножия кумира
Безумец бедный обошел
И взоры дикие навел
На лик державца полумира.
Стеснилась грудь его. Чело
К решетке хладной прилегло,
Глаза подернулись туманом,

По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь. Он мрачен стал
Пред горделивым истуканом
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной,
«Добро, строитель чудотворный! –
Шепнул он, злобно задрожав, —
Ужо тебе!..» И вдруг стремглав
Бежать пустился. Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось…
И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой –
Как будто грома грохотанье –
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой.
И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне;
И во всю ночь безумец бедный,

Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал.

И с той поры, когда случалось
Идти той площадью ему,
В его лице изображалось
Смятенье. К сердцу своему
Он прижимал поспешно руку,
Как бы его смиряя муку,
Картуз изношенный сымал,
Смущенных глаз не подымал
И шел сторонкой.

Остров малый
На взморье виден. Иногда
Причалит с неводом туда
Рыбак на ловле запоздалый
И бедный ужин свой варит,
Или чиновник посетит,
Гуляя в лодке в воскресенье,
Пустынный остров. Не взросло
Там ни былинки. Наводненье

Туда, играя, занесло
Домишко ветхий. Над водою
Остался он, как черный куст.
Его прошедшею весною
Свезли на барке. Был он пуст
И весь разрушен. У порога
Нашли безумца моего,
И тут же хладный труп его
Похоронили ради Бога.

Примечания

[1] Альгаротти где-то сказал: «Pétersbourg est la fenêtre par laquelle la Russie regarde en Europe»[38].

[2]Смотри стихи кн. Вяземского к графине З***.

[3] Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествовавший Петербургскому наводнению, в одном из лучших своих стихотворений — Oleszkiewicz. Жаль только, что описание его не точно. Снегу не было — Нева не была покрыта льдом. Наше описание вернее, хотя в нем и нет ярких красок польского поэта.

[4] Граф Милорадович и генерал-адъютант Бен-

---

[38] Примечания: 38
«Петербург — окно, через которое Россия смотрит в Европу» (*фр.*).

кендорф.

[5] Смотри описание памятника в Мицкевиче. Оно заимствовано из Рубана — как замечает сам Мицкевич.

1833

Граф Нулин

Пора, пора! рога трубят;
Псари в охотничьих уборах
Чем свет уж на конях сидят,
Борзые прыгают на сворах.
Выходит барин на крыльцо,
Всё, подбочась, обозревает;
Его довольное лицо
Приятной важностью сияет.
Чекмень затянутый на нем,
Турецкий нож за кушаком,
За пазухой во фляжке ром,
И рог на бронзовой цепочке.
В ночном чепце, в одном платочке,
Глазами сонными жена
Сердито смотрит из окна
На сбор, на псарную тревогу.
Вот мужу подвели коня;
Он холку хвать и в стремя ногу,
Кричит жене: не жди меня!

И выезжает на дорогу.

В последних числах сентября
(Презренной прозой говоря)
В деревне скучно: грязь, ненастье,
Осенний ветер, мелкий снег
Да вой волков. Но то-то счастье
Охотнику! Не зная нег,
В отъезжем поле он гарцует,
Везде находит свой ночлег,
Бранится, мокнет и пирует
Опустошительный набег.

А что же делает супруга
Одна, в отсутствии супруга?
Занятий мало ль есть у ней?
Грибы солить, кормить гусей,
Заказывать обед и ужин,
В анбар и в погреб заглянуть.
Хозяйки глаз повсюду нужен:
Он вмиг заметит что-нибудь.

К несчастью, героиня наша…
(Ах! я забыл ей имя дать.

Муж просто звал ее Наташа,
Но мы – мы будем называть
Наталья Павловна) к несчастью,
Наталья Павловна совсем
Своей хозяйственною частью
Не занималася, затем,
Что не в отеческом законе
Она воспитана была,
А в благородном пансионе
У эмигрантки Фальбала.

Она сидит перед окном;
Пред ней открыт четвертый том
Сентиментального романа:
Любовь Элизы и Армана,
Иль Переписка двух семей –
Роман классический, старинный,
Отменно длинный, длинный, длинный,
Нравоучительный и чинный,
Без романтических затей.

Наталья Павловна сначала
Его внимательно читала,

Но скоро как-то развлеклась
Перед окном возникшей дракой
Козла с дворовою собакой
И ею тихо занялась.
Кругом мальчишки хохотали.
Меж тем печально, под окном,
Индейки с криком выступали
Вослед за мокрым петухом;
Три утки полоскались в луже;
Шла баба через грязный двор
Белье повесить на забор;
Погода становилась хуже:
Казалось, снег идти хотел…
Вдруг колокольчик зазвенел.

Кто долго жил в глуши печальной,
Друзья, тот, верно, знает сам,
Как сильно колокольчик дальный
Порой волнует сердце нам.
Не друг ли едет запоздалый,
Товарищ юности удалой?..
Уж не она ли?.. Боже мой!
Вот ближе, ближе. Сердце бьется.

Но мимо, мимо звук несется,
Слабей… и смолкнул за горой.

Наталья Павловна к балкону
Бежит, обрадована звону,
Глядит и видит: за рекой,
У мельницы, коляска скачет,
Вот на мосту – к нам точно… нет,
Поворотила влево. Вслед
Она глядит и чуть не плачет.

Но вдруг… о радость! косогор;
Коляска на бок. – «Филька, Васька!
Кто там? скорей! Вон там коляска:
Сейчас везти ее на двор
И барина просить обедать!
Да жив ли он?.. беги проведать:
Скорей, скорей!»

Слуга бежит.
Наталья Павловна спешит
Взбить пышный локон, шаль накинуть,
Задернуть завес, стул подвинуть.
И ждет. «Да скоро ль, мой творец!»

Вот едут, едут наконец.
Забрызганный в дороге дальней,
Опасно раненный, печальный
Кой-как тащится экипаж;
Вслед барин молодой хромает;
Слуга-француз не унывает
И говорит: «Allons, courage![39]*»*
Вот у крыльца; вот в сени входят.
Покамест барину теперь
Покой особенный отводят
И настежь отворяют дверь,
Пока Picard шумит, хлопочет,
И барин одеваться хочет,
Сказать ли вам, кто он таков?
Граф Нулин, из чужих краев,
Где промотал он в вихре моды
Свои грядущие доходы,
Себя казать, как чудный зверь,
В Петрополь едет он теперь
С запасом фраков и жилетов,

---

[39] Примечания: 39
Ну, смелей! (*фр.*)

Шляп, вееров, плащей, корсетов,
Булавок, запонок, лорнетов,
Цветных платков, чулков á jour[40]*,*
С ужасной книжкою Гизота,
С тетрадью злых карикатур,
С романом новым Вальтер-Скотта,
С bons-mots[41] *парижского двора,*
С последней песней Беранжера,
С мотивами Россини, Пера,
Et cetera, et cetera[42]*.*

Уж стол накрыт; давно пора;
Хозяйка ждет нетерпеливо;
Дверь отворилась, входит граф;
Наталья Павловна, привстав,
Осведомляется учтиво,
Каков он? что нога его?
Граф отвечает: ничего.

---

[40] Примечания: 40
Прозрачных (ажурных) (*фр.*).

[41] Примечания: 41
Остротами (*фр.*).

[42] Примечания: 42
И так далее, и так далее (*лат.*).

Идут за стол; вот он садится,
К ней подвигает свой прибор
И начинает разговор:
Святую Русь бранит, дивится,
Как можно жить в ее снегах,
Жалеет о Париже страх.
«А что театр?» – «О! сиротеет,
C'est bien mauvais, ça fait pitiè[43]
Тальма совсем оглох, слабеет,
И мамзель Марс, увы! стареет.
Зато Потье, le grand Potier![44]
Он славу прежнюю в народе
Доныне поддержал один».
– «Какой писатель нынче в моде?»
– «Всё d'Arlincourt и Ламартин».
– «У нас им также подражают».
– «Нет? право? так у нас умы
Уж развиваться начинают.
Дай бог, чтоб просветились мы!»

---

[43] Примечания: 43
Очень плохо, просто жалость (*фр.*).

[44] Примечания: 44
Великий Потье (*фр.*).

– Как тальи носят?» – «Очень низко,
Почти до… вот по этих пор.
Позвольте видеть ваш убор;
Так… рюши, банты, здесь узор;
Всё это к моде очень близко».
– Мы получаем Телеграф».
– «Ага! хотите ли послушать
Прелестный водевиль?» И граф
Поет. «Да, граф, извольте ж кушать».
– «Я сыт итак…»
Из-за стола
Встают. Хозяйка молодая
Черезвычайно весела;
Граф, о Париже забывая,
Дивится, как она мила.
Проходит вечер неприметно;
Граф сам не свой: хозяйки взор
То выражается приветно,
То вдруг потуплен безответно.
Глядишь – и полночь вдруг на двор.
Давно храпит слуга в передней,
Давно поет петух соседний,

В чугунну доску сторож бьет,
В гостиной свечки догорели.
Наталья Павловна встает:
«Пора, прощайте! ждут постели.
Приятный сон!..» С досадой встав,
Полувлюбленный нежный граф
Целует руку ей. И что же?
Куда кокетство не ведет?
Проказница – прости ей, Боже! –
Тихонько графу руку жмет.

Наталья Павловна раздета;
Стоит Параша перед ней.
Друзья мои! Параша эта
Наперсница ее затей:
Шьет, моет, вести переносит,
Изношенных капотов просит,
Порою с барином шалит,
Порой на барина кричит
И лжет пред барыней отважно.
Теперь она толкует важно
О графе, о делах его,
Не пропускает ничего –

Бог весть, разведать как успела.
Но госпожа ей наконец
Сказала: «Полно, надоела!»
Спросила кофту и чепец,
Легла и выйти вон велела.

Своим французом между тем
И граф раздет уже совсем.
Ложится он, сигару просит,
Monsieur Picard ему приносит
Графин, серебряный стакан,
Сигару, бронзовый светильник,
Щипцы с пружиною, будильник
И неразрезанный роман.

В постеле лежа, Вальтер-Скотта
Глазами пробегает он.
Но граф душевно развлечен:
Неугомонная забота
Его тревожит; мыслит он:
«Неужто вправду я влюблен?
Что, если можно?.. вот забавно;
Однако ж это было б славно;

Я, кажется, хозяйке мил» –
И Нулин свечку погасил.

Несносный жар его объемлет,
Не спится графу – бес не дремлет
И дразнит грешною мечтой
В нем чувства. Пылкий наш герой
Воображает очень живо
Хозяйки взор красноречивый,
Довольно круглый, полный стан,
Приятный голос, прямо женский,
Лица румянец деревенский –
Здоровье краше всех румян.
Он помнит кончик ножки нежной,
Он помнит: точно, точно так,
Она ему рукой небрежной
Пожала руку; он дурак,
Он должен бы остаться с нею,
Ловить минутную затею.
Но время не ушло: теперь
Отворена, конечно, дверь –
И тотчас, на плеча накинув
Свой пестрый шелковый халат

И стул в потемках опрокинув,
В надежде сладостных наград,
К Лукреции Тарквиний новый
Отправился, на всё готовый.

Так иногда лукавый кот,
Жеманный баловень служанки,
За мышью крадется с лежанки:
Украдкой, медленно идет,
Полузажмурясь подступает,
Свернется в ком, хвостом играет,
Разинет когти хитрых лап
И вдруг бедняжку цап-царап.

Влюбленный граф в потемках бродит,
Дорогу ощупью находит,
Желаньем пламенным томим,
Едва дыханье переводит,
Трепещет, если пол под ним
Вдруг заскрыпит. Вот он подходит
К заветной двери и слегка
Жмет ручку медную замка;
Дверь тихо, тихо уступает;

Он смотрит: лампа чуть горит
И бледно спальню освещает;
Хозяйка мирно почивает
Иль притворяется, что спит.

Он входит, медлит, отступает –
И вдруг упал к ее ногам.
Она… Теперь с их позволенья
Прошу я петербургских дам
Представить ужас пробужденья
Натальи Павловны моей
И разрешить, что делать ей?

Она, открыв глаза большие,
Глядит на графа – наш герой
Ей сыплет чувства выписные
И дерзновенною рукой
Коснуться хочет одеяла,
Совсем смутив ее сначала…
Но тут опомнилась она,
И, гнева гордого полна,
А впрочем, может быть, и страха,
Она Тарквинию с размаха

Дает пощечину, да, да!
Пощечину, да ведь какую!

Сгорел граф Нулин от стыда,
Обиду проглотив такую;
Не знаю, чем бы кончил он,
Досадой страшною пылая,
Но шпиц косматый, вдруг залая,
Прервал Параши крепкий сон.
Услышав граф ее походку
И проклиная свой ночлег
И своенравную красотку,
В постыдный обратился бег.

Как он, хозяйка и Параша
Проводят остальную ночь,
Воображайте, воля ваша!
Я не намерен вам помочь.

Восстав поутру молчаливо,
Граф одевается лениво,
Отделкой розовых ногтей,
Зевая, занялся небрежно,
И галстук вяжет неприлежно,

И мокрой щеткою своей
Не гладит стриженых кудрей.
О чем он думает, не знаю;
Но вот его позвали к чаю.
Что делать? Граф, преодолев
Неловкий стыд и тайный гнев,
Идет.
Проказница младая
Насмешливый потупя взор
И губки алые кусая,
Заводит скромно разговор
О том, о сем. Сперва смущенный,
Но постепенно ободренный,
С улыбкой отвечает он.
Получаса не проходило,
Уж он и шутит очень мило
И чуть ли снова не влюблен.
Вдруг шум в передней. Входят. Кто же?
«Наташа, здравствуй».
– «Ах, мой Боже!
Граф, вот мой муж. Душа моя,
Граф Нулин».

– «Рад сердечно я.
Какая скверная погода!
У кузницы я видел ваш
Совсем готовый экипаж.
Наташа! там у огорода
Мы затравили русака…
Эй, водки! Граф, прошу отведать:
Прислали нам издалека.
Вы с нами будете обедать!»
– «Не знаю, право, я спешу».
– «И, полно, граф, я вас прошу.
Жена и я, гостям мы рады.
Нет, граф, останьтесь!»
Но с досады
И все надежды потеряв,
Упрямится печальный граф.
Уж подкрепив себя стаканом,
Пикар кряхтит за чемоданом.
Уже к коляске двое слуг
Несут привинчивать сундук.
К крыльцу подвезена коляска,
Пикар всё скоро уложил,

И граф уехал… Тем и сказка
Могла бы кончиться, друзья;
Но слова два прибавлю я.

Когда коляска ускакала,
Жена всё мужу рассказала
И подвиг графа моего
Всему соседству описала.
Но кто же более всего
С Натальей Павловной смеялся?
Не угадать вам. – Почему ж?
Муж? – Как не так. Совсем не муж.
Он очень этим оскорблялся,
Он говорил, что граф дурак,
Молокосос; что если так,
То графа он визжать заставит,
Что псами он его затравит.
Смеялся Лидин, их сосед,
Помещик двадцати трех лет.

Теперь мы можем справедливо
Сказать, что в наши времена
Супругу верная жена,

Друзья мои, совсем не диво.

1825